

ВРЕМЯ ИМБЫ 1980

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

- ГАЛИЧ, КАКИМ ОН БЫЛ
- ЛУБЯНСКИЙ НАБАТ
- ДРЕВНЕЙШИЕ ОБИТАТЕЛИ РОССИИ
- СОБАЧЬИ ВРЕМЕНА
- ПИСЬМА МИЛЮКОВА



ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ФРАНЦА КАФКИ

ВРЕМЯ И МЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЖУРНАЛ
ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ

Шестой год издания

Выходит один раз в месяц

51
1980

МАРТ

НЬЮ ЙОРК-ТЕЛЬАВИВ-ПАРИЖ

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВРЕМЯ И МЫ" - 1980

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ФАИНА БААЗОВА	ЛЕВ ЛАРСКИЙ
ЛИЯ ВЛАДИМИРОВА	ЛЕВ НАВРОЗОВ
ЕГОШУА А. ГИЛЬБОА	ВИКТОР НЕКРАСОВ
ИЛЬЯ ГОЛЬДЕНФЕЛЬД	ДОРА ШТУРМАН
МИХАИЛ КАЛИК	ЕФИМ ЭТКИНД

Американское отделение журнала "Время и мы"
Заведующий отделением Эдуард Штейн.
Адрес отделения: E. Sztein, 594 Chestnut Ridge, Road
Orange, Conn. 06477.

Французское отделение журнала "Время и мы"
Заведующий отделением Ефим Эткинд.
Адрес отделения: 4 rue Paul Bert, 92150 SURESNES.
FRANCE.

Представители журнала:

Англия Александр Штрмас
Croft House, Top Flat 32 New Hey Road Rastrick, Brighouse
W. Yorkihira HD6 3PZ ENGLAND

Западный лотар Ролл
Берлин Lipschitzallee 24, 1000 Berlin 47, T. 603 33 49

Канада Юрий Лурьи
306 Robion Hall Winnipeg, Manitoba Canada R3t 2N2
t. (204) 474 9773

ФРГ Ари й В е р н е р
Postfach 50 1968 5000 Koeln, 50 West Germany

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Раиса ОРЛОВА

"Мы не хуже Горация" 5
Фридрих ГОРЕНШТЕЙН

Бердичев 27

ПОЭЗИЯ

Леонид ИОФФЕ

Возле пустыря 88

Надежда ПАСТЕРНАК

Западня прикосновений 94

Владимир ВИШНЯК

Лубянский набат. 98

ПУБЛИЦИСТИКА, ИСТОРИЯ, КРИТИКА

Аркадий ЛЬВОВ

Гости или древнейшие обитатели? 106

Леонид ГЕЛЛЕР

Собачья времена 125

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Макс БРОД

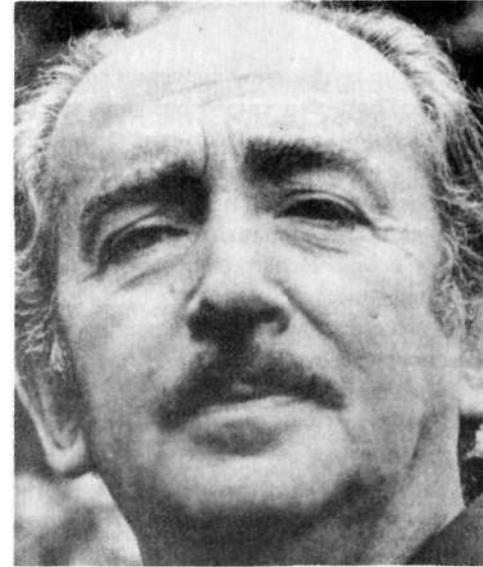
Жизнь и смерть Франца Кафки. 142

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Глазами Милюкова 178

ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"

Искусство Отто Фрейндлиха 210



Раиса ОРЛОВА "МЫ НЕ ХУЖЕ ГОРАЦИЯ"

Мы все, обманывавшие и обманутые, становились людьми в той мере, в какой изменялись, отказывались от лжи, избавлялись от прошлого, связанного с ложью. Александр Галич тоже проделал этот путь. Отчасти он рассказал об этом в книге "Генеральная репетиция", вышедшей за границей. Рассказал с бережностью к себе.

Ему, как и большинству из нас, было от чего избавляться.

Году в шестидесятом Фрида Вигдорова, провожая Лидию Корнеевну Чуковскую из Переделкина в Москву, посадила ее в такси к Галичам. На следующий день Лидия Корнеевна выговаривала сурово: "Фридоочка, ну, как вы могли отправить меня с такими людьми? Всю дорогу они болтали о какой-то финской мебели, о сервизах. Давно не глотала столько сытой пошлости".

Прошло несколько лет. Лидия Чуковская услышала первые песни Галича и сказала Фриде: "Очень справедливо, что у таких родителей вырос такой замечательный сын. Поделом".

Из книги "Воспоминания о непрошедшем времени".
Copyright. Изд. "Ardis", Ann Arbor.

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.

Говорил о финской мебели и создавал песни один и тот же человек. Тот, кто много раз был за границей, участвовал в кино постановках совместно с Францией. Я еще встречала у него изредка людей чужих, из "той" жизни. И такие, например, чужие фразы: "А я за нерпой ездил в Париж".

Когда песня вырывалась — он облегченно вздыхал. А вслед за ним и мы. Испытывал освобождение от страха и просто освобождение.

Процесс шел медленно, вовсе не был непрерывным движением вперед и выше.

Он же сказал мне в 66 году: "Я не хочу больше зарабатывать деньги. Пусть они как хотят. Песни стоят в горле. Мне надоело бояться".

Кто "они"? Его жена Ангелина Николаевна была его п о л о в и н о й. Ей посвящена первая книга песен. Это он хотел зарабатывать, вернее, он привык, он хотел, чтобы в доме было много денег. И долго, уже будучи автором этих самых песен, еще оставался автором, соавтором, заавтором халтурных, приспособленческих сценариев, которые приносили деньги.

Он не мыслил существования без комфорта и с тем большей яростью судил, осуждал, проклинал тех, кто как-то устроился между Бутырками, Освенцимом, Хиросимой, устроился, повесив шторы, отциклевав пол...

... Пьет. Каждый день. Поначалу ему от рюмки хуже, — взбадривается, "допинг". Потом все хуже и хуже. Бегаёт на станцию в буфет. А где же, как не в забегаловках, он увидел внутренний и внешний рисунок своих персонажей, подслушал истории, слова:

"Первача я взял ноль восемь..."

Мы сидим за одним столом месяц, я вижу каждодневное пьянство, меня выталкивает во времена второго брака, и не выходит у меня из головы это мучительное десятилетие моей жизни.

Он пьет и пьяный поет хуже, чем обычно, коверкает свои песни.

Под переделкинским снегом на улице: "Мне плохо. Если б ты знала, как мне плохо". Я знаю, что он хочет сказать. В бесконечной череде женщин, которые бежали, шли, тащились через его жизнь, появилась та, которая могла бы стать единственной. Это с ней в "доме у маяка", — и "спасенье мое и мое воскресенье"...

Не произошло ни спасения, ни воскресенья.

Ранней весной семьдесят третьего года она скорострительно скончалась от лейкемии, оставив семилетнего сына Гришу, которого Саша так и не увидел.

Перед самым отъездом за границу он сказал мне: "У меня оставался последний шанс человеческой жизни тогда, в 66 году. А я струсил". Он сказал, между прочим, словно продолжая давно начатый разговор:

— Мне плохо, Райка. Ты и не знаешь, как мне плохо.

Это не от нашей эпохи. Это не от преследований. Это изнутри. Чтобы не было так плохо — в твоей, почти в твоей власти.

**А про то, что мне было худо,
Никогда вспоминать не надо...**

Не послушаю его: это входило и сейчас входит в цену. В цену обретения себя.

Временами его охватывало отчаяние — черное, безвыходное.

Мало кто прожил жизнь без часов, дней, а то и месяцев отчаяния.

У Галича это было отчаяние невыразимости, — отчаяние писателя, творца.

Отчаяние человека, который не может жить так, как сам считает нужным, должным.

Отчаяние разрыва с прошлым, — какая-никакая, но была налаженная жизнь, а что впереди? Прыжок в пустоту...

Отчаяние больного: вот она, смерть, рядом, приближается, наваливается.

И самое страшное отчаяние — без причин.

Глядя на него в многолюдье, в комнатах, где он — центр, магнит, источник радости, — трудно бывало представить себе эту бездну.

Его строка богата. Противоречие заключено внутри слова. Не лицемерие, на которое толкает общественное устройство, а закреплённое двуличие, двумыслие, двуязычие. Система фраз, прямо противоположная реальной жизни и реальному значению слов.

Когда писатели — и Александр Галич — переезжали в первый кооперативный дом на улице Черняховского, они любовно, а кто мог — и богато, обставляли свои квартиры. До нас тогда дошел разговор /кажется, между Аркадием Васильевым, покойным ныне, и Виктором Шкловским/:

"А что, если грянет революция, и все это отнимут?"

Саша знал об этом разговоре. Может быть, тогда и возникло первое зерно будущей "Баллады о прибавочной стоимости", где осуществившаяся революция и ужас перед нею.

Давно известно, что наш правящий класс, наше государство, — из самых консервативных в мире. В "Балладе о прибавочной стоимости" — это общее место, обретая гротескную конкретность отдельного случая, становится художественным открытием.

Эта баллада исполнялась в полном зале Дома литераторов на шестидесятилетии Николая Атарова в сентябре 1967 года. С трибуны. В президиуме сидел Виктор Ильин.

Саша читал массу книг на трех языках. Долгие его болезни, — по книге в день. Знал, что хорошо и что плохо в искусстве. Раиса Беньяш вспоминала, как они вместе смотрели в Париже чаплинские "Огни рампы", — "зажегся свет, рядом со мной — счастливейшее, зареванное Сашино лицо".

В марте 68 года в Академгородке Новосибирска устроили фестиваль бардов. "Две с половиной тысячи человек, стоя, слушали мою "Песню о Пастернаке". Мгновение молчания. Овация". Он скорее преуменьшал. Наши друзья из Академгородка рассказывали, — те, кто присутствовал, испытали потрясение. Услышать правду не тайком, не наедине с избранными единомышленниками, а в большом зале, на

людях, разделить это счастье с другими. Услышать правду, выраженную в точном слове.

Боже, как ему этот успех необходим! Он ведь еще и актер. Ему нужны не комнаты, — сколько бы в них ни набивалось народу. А переполненные залы из людей незнакомых, но знающих, любящих его песни. Сейчас в Париже, Лондоне, Цюрихе как будто бывают и переполненные залы.

... Вновь слушаю старые записи. Едва ли не каждую сопровождает гул. Своеобразный хор. Нет, ему, конечно, не подпевают. Это гул — до или после песни /изредка — во время/ — восхищенный: собравшиеся знают, любят, предвкушают песни. Узнаю знакомые голоса.

... Слушаю заграничные записи, пластинки. Мертвое молчание. Концерт. И поет он сам по-иному, не манерно ли? Строки "уходит наш поезд в Освенцим" — сопровождает шум настоящего поезда. Оскорбительно неуместный. Словно без этого не поверят, словно самой песни недостаточно...

Трудно русскому поэту, да еще такому почвенному, без России. Да, я не оговорила, — почвенному. Это сочеталось в последние годы со все усиливающимся осознанием и выражением еврейства.

Как нужны были ему полные залы в Москве, Ленинграде. И вот неожиданно подарил Новосибирск. Это было вершиной и концом здешней открытой жизни.

После судебного процесса в 1968 году над Галансковым-Гинзбургом и после преследования подписантов шли заморозки. В газетах Новосибирска появились резкие статьи против Галича. Он заторможен, грустен, оживляется только, когда рассказывает, как прекрасно там было.

Восемь песен напечатаны в журнале НТС "Грани". Этот номер подложен ему в почтовый ящик. Он сразу же отослал конверт ответственному секретарю Союза писателей, генералу КГБ Ильину — не хочет непрошенных защитников, непрошенных публикаций.

Процесс изменений внешних и внутренних шел медленно, не прямо, с возвращением на круги своя.

Написал для Марка Донского сценарий о Шалапине. Еще

член двух творческих союзов. Еще весь в старой системе, — и общей, и своей, индивидуальной. Но и вне ее, — рывком художника.

Галич обличал сталинизм. Это — на поверхности, это было одним из первоотлчков и, отчасти, объясняет необыкновенное распространение его пленок. Это вписывалось в общее русло оттепели, в шестидесятые годы.

Но он выступал еще и против профессиональной среды, в которой сформировался, против попутчиков, против коллег по долголетнему примирению с тем, "чего терпеть не должно". Против прозаиков и поэтов, чьи книги публикуются, против художников, чьи картины выставляются на официальных выставках. Против автора пьесы "Вас вызывает Таймыр". Он и сам много лет "окликал стражников по имени".

Осудить начальника, кума, Сталина — несравненно легче, чем вчерашнего товарища.

В песне "Мы не хуже Горация" Галич говорит о новой литературе, — без Гутенберга —

**"Эрика" берет четыре копии,
Вот и все. И этого достаточно...**

О песнях без радио, без концертов, без телевидения:

**Есть магнитофон системы "Яуза"...
И этого достаточно.**

О картинах на подрамниках — даже без мастерской.

Песня "Мы не хуже Горация" закрепляет в слове рождение второй культуры.

Мы о ней спорили. Большинство людей в огромной стране не может духовно питаться сам- и тамиздатами. Потому каждая изданная книга, — разумеется, если она принадлежит к культуре истинной, — так необыкновенно важна. Да и не могу же я зачислить в "дюжие" и "ражие", — ни Распутина, ни Самойлова, ни Окуджаву, — список гораздо длиннее.

Но еще раз повторяю: эта песня — из самых мужественных поступков Галича. Ибо труднее всего и больше всего сказать

правду о себе. Даже начиная уходить, уйдя от себя вчерашнего.

Не спорили мы о другой его строфе, — ее смысл мне открылся полностью только теперь, —

**А вы валяйте, по капле
Выдавливайте раба**

/"Я выбираю свободу..."/

Прошло десятилетие. И лучшей, более важной программы, чем некогда высказанной Чеховым /ненавидящим любые программы/ "... по капле выдавливать из себя раба", — я так и не узнала.

В этом не разделяю иронии Галича. Да, это медленно, почти и незаметно. Да, мы не увидим результатов. Но, думается, любые "ускорения" ни к чему, кроме большой крови и новой бесовщине, не ведут.

Об этом с ним уже не поговорить.

Галич вызывал особый гнев своих бывших коллег, собутыльников, продолжавших поддерживать и "фанфаронское безмолвие" и "многодумное бессмыслие", даже если и не задевал их непосредственно.

... — Он же наш, свой. Ну, Литвинов, Буковский, — или даже Сахаров, Солженицын, — они из другого мира. Мы и не видели их никогда. Но Сашка?! Да я ж его насквозь знаю. Он — обличитель? Он — борец за правду?! И смех и грех...

Сколько раз мне приходилось обрывать подобные речи в нашем дворе.

А как эти людишки радовались любому его проступку!

Но сколько силы, сколько благородной верности себе, тревожащей совести нужно было именно ему, чтобы вырваться. Вырваться из привычного, легкого, окутывающего "Живи, как все". Пей, блуди, ходи на премьеры в Дом кино. Зови всех на свои премьеры.

Люди из той первой жизни остались рядом. Он их видел ежедневно, когда выходил с собакой, и за молоком, и отправляясь петь.

.... Кто угодно, но не Сашка же?

Нет, он. Вырвался из растленной, растлевающей среды. Летом 1968 года Саша предложил нам присоединиться к ним, — они жили в Дубне, в гостинице. Мы едем в Дубну и проводим там август шестьдесят восьмого года.

Галич работает с Донским над сценарием.

Прошедшее полугодие, пражская весна, пражское лето наполнило песни новыми оттенками, еще более горькими.

Я вижу лица молодых ученых, они слушают впервые, в глазах — слезы. Мне не нравится "Эпитафия", но очень нравится песня об Ахматовой. И еще ближе "Ночной дозор". Шестые памятников Сталину на Красную площадь.

**Им бы, гипсовым, человечины
Они вновь обретут величие.**

В отличие от своих антиинтеллектуальных персонажей, он-то художник интеллектуальный, ему нужны не только аплодисменты, ему нужен профессиональный разговор. Сидим у нас в номере, говорим о сентиментальности.

А по набережной Волги ходят молодые физики с гитарами и поют его песни.

Опять и опять слушая "Аве Мария", вспоминаю наш разговор двухлетней давности —

**грянули впоследствии
всякие хренации...**

Для меня тогда эти "хренации" представлялись революцией, а по иному счету — бессодержательные судороги, ничего не меняющие в сути. Всего только —

**Справочку с печатью
О реабилитации
Выдали в Калининне
Пророковой вдове.**

Но спрошу сегодня, — если бы не "насморочно-хлипкая кутерьма" — так он называет оттепель, — вырвались ли бы его песни?

Слышу яснее звуковой ряд:

А, как ныли ноги у Мадонны —

Нарастает н-Н-н.

Или

В платице, застиранном до сини

Звук "н" в этой песне — синий. Цвет Мадонны.

Или в другой песне:

А под Щелковым

В щепки полк

А касса щелкает

Щелк, щелк, щелк.

Мы и раньше говорили ему, что в пастернаковской песне —

И терзали Шопена лабухи —

слово "лабухи" режет, оно не на месте. Ведь там интонация — открыто авторская /"Мы не забудем этот смех..."/, а для него Нейгауз, Рихтер, Юдина, — те, кто на похоронах играли Шопена — никакие не лабухи. Он уперся. Не спорит, но изменить не хочет.

Донской настойчиво навязывает нам монографии об его творчестве, изданные во Франции, в Италии. Он завидует Саше и возмущается им. Саша его ненавидит. Как можно при этом работать вместе — непостижимо.

Опять пьет целый вечер. Выбегаю на улицу — это со мной редко, но мне обязательно нужно остаться наедине со звуками, с песнями, и чтобы ничего замутняющего не наложились сверху. Сохранить, удержать эту смесь отчаяния, авторского и своего черного горя, пропасти стыда, в которой мы прожили долгие годы, — и высокого счастья, преодолевающего искусства.

* * *

Мы слевой так и не вспомнили, из-за чего мы поссорились утром 21 августа, я убежала под душ и вдруг Лева неистово

барабанит по двери: "Скорее, выходи!" Я еще в ссоре, не сразу выхожу.

— Танки в Праге.

Мы втроем с Сашей пошли в лес. Что же будет дальше? Что с нами со всеми теперь сделают? В тот момент почти не было сомнений — только массовый террор. Как же иначе, каким способом заставить проглотить Прагу?

Мы себе казались уже всепонимающими, прозревшими, а сколько мы еще не знали о внутренних механизмах нашего общества, о подлинно народных настроениях, о самих себе.

Весь август Галич писал "Петербургский романс", читал нам куски:

**И стоят по квадрату
В ожиданьи полки
От синода к Сенату
Как четыре строки —**

Именно в те дни, сразу же после вторжения, был закончен рефрен:

**Хочешь выйти на площадь
Можешь выйти на площадь
Смеешь выйти на площадь
В тот назначенный час?**

24-го августа, перед нашим отъездом в Москву, он подарил нам эту песню, надписал. Вечером к нам домой пришли дочь Майя с мужем Павлом Литвиновым, Лева прочитал им, — как всегда читал сразу новое, — Галича ли, других ли поэтов.

А назавтра, двадцать пятого, в полдень и состоялась на Красной площади демонстрация протеста против вторжения в Чехословакию. Посмели выйти семеро. Из них пятеро — Литвинов, Горбаневская, Дремлюга, Делоне, Файнберг, — отбыв сроки в тюрьмах, ссылках и психушках, — сейчас за границей.

Галич очень любил, чтобы перед исполнением "Петербургского романса" я давала эту справку: песня закончена

до демонстрации — справка записана на многих пленках. Еще бы: поэт не проиллюстрировал, а предвосхитил!

Потом он еще напишет:

**Граждане, отечество в опасности,
Наши танки на чужой земле!**

Жизнь не кончилась на Чехословакии, ни общая, ни наша.

Пессимистические наши прогнозы тогда, к счастью, не оправдались.

В январе 1969 года Галич поет целый вечер. Пьяный, несчастный, поет плохо. Ущемлен: "Никто не хочет всерьез разговаривать со мной о моей работе, все — потребители". Он прав. Решили устроить обсуждение, только обсуждение, без пения, без водки. Так это и не состоялось. Мы — тоже потребители.

Слушаю первую песню о Герое Социалистического Труда.

**Израильская, говорю, военщина
Известна всему свету...**

Возникла бы вдруг у нас, мановением чьей-то палочки, демократия, свобода слова, — как выступил бы рабочий класс? Как отнесся бы к израильской военщине, к вторжению в Чехословакию, к травле интеллигенции? Не знаю. В Португалии тоже полвека была тоталитарная диктатура, а вот проголосовали португальцы за демократию... Впрочем, ничего я об этой маленькой стране не знаю, ни о характере ее диктатуры, ни о сегодняшнем, ни о прошлом.

В галичской песне о том, как "сообразить на троих," рабочий, выпив, уснул. Он спит, а его полпреды варганят войну и мир... За него, вместо него, но отчасти и от его имени, отчасти выражая его мысли и чувства.

Точны исторические детали, закрепленные и во временной точности языка:

**Бог пил мертвую в монопольке
Она чокается шампанью**

Но в песнях и универсальность, общечеловечность проблем, "столетие — пустяк", соответственно сдвигаются пласты времени.

**А вокруг шумела Иудея
И о мертвых помнить не хотела.**

Так, с тех пор, две тысячи лет. Люди хотят жить если не в радостном, то хотя бы в благополучном, спокойном мире. И гнев их нередко оборачивается не против тех, кто творит зло и горе, а против тех, кто не хочет о зле, о горе забывать.

**Пропавшее наше прошлое
Спит под присмотром конвойного.**

Только в напоминании — слабая надежда на предотвращение новых "бутырок, треплинок, предательств, измен, распятый".

Галич будит. Не дает уснуть.

Его исключили из Союза писателей под новый 1972-й год. Прихожу. Полулежит. Нюша со шприцем. Перечисляет тех литераторов, кто сразу же ему позвонил или пришел: В. Максимов, Ю. Домбровский, Б. Ахмадулина, Е. Евтушенко, Л. Копелев, Л. Зонина, В. Шитова, И. Соловьева, А. Шаров, Б. Носик. Ему это важно.

Летом 1972-го года мы виделись особенно часто, он жил на той же самой маленькой улице, в деревне Жуковка, где жили Сахаров, Солженицын, Ростропович. Остался один Сахаров.

Ходили в лес, он пел у меня на дне рождения. Жарили шашлык.

Самая его большая обида того лета — Солженицын отказался с ним повидаться. Обида естественная. Тем более, что легла она на глубокий душевный пласт, выраженный и в песнях. Даже после огромного успеха, он не переставал испытывать неуверенность в себе, некую униженность, ущербность. За себя. За свое положение. Да и за свои песни. Иногда это выражается косвенно. Так, в блоковской:

**А в ответ ему
Время вышло.**

Это самому Блоку, Богу, Галичу — тем более.
Иногда — прямо:

**Эта стыдная роль...
Эта легкая слава
И привычная боль...**

"Что же такое мои песни?" — как бы спрашивал он себя. Истинное искусство или острая приправа к сытому застолью столичной интеллигенции? Спрашивал. И отвечал по-разному. То радостно, удивленно. То горестно, недоуменно.

В его песнях часто мелькает сгорбленная спина.

Любому человеку, любому литератору было бы обидно, если бы другой, всеми уважаемый, более того, — вознесенный литератор отказался бы поговорить с ним. Да еще в тот момент, когда Галича, как за два года перед тем самого Солженицына, — выгнали из Союза писателей.

Мне теперь совестно, что я тогда не ощутила его обиду так остро, не разделила ее. Мы просили Александра Исаевича встретиться с Галичем. Сделать-то больше и ничего было нельзя, — если Солженицын чего не хотел, то его не переубедить. Но уж сочувствовать Галичу можно было. И нужно было. А мы оба тогда были полностью погружены в солженицынские дела, — трудные, серьезные.

Как истинный человек искусства, Галич сомневался в себе.

Еще и потому ему так важно было не только одобрение /чем-чем, а одобрением его не обидели/, ему важно было понимание. Отклик. Знаю, что надпись Корнея Чуковского "Ты, Моцарт, Бог, и сам того не знаешь..." принадлежала к его истинным сокровищам.

Сколько раз мы у себя и в других домах дарили его, угощали им. И как в сущности редко дарили ему, угощали его... Сколько не успели ему сказать...

Думаю теперь, что песни Галича, — у истоков целого пласта современной прозы, к которому принадлежат "Москва — Петушки" В. Ерофеева, "Зияющие высоты" А. Зиновьева...

Летом 1972 года укрепилась дружба Галича с Сахаровыми /он знал Елену Георгиевну Боннер со студии, где ставился "Город на заре"/. Он подписал два коллективных письма, составленных Сахаровым, — одно против смертной казни, другое — призыв к политической амнистии.

Он принял православие. Судить об этом мне, неверующей, не дано. Могу лишь сказать, что, надев крест, Галич /как и некоторые другие новообращенные/, не стал ни добрее, ни милосерднее, не стал больше думать о других людях. Но это о личности, а не о творчестве.

В песнях Александра Галича наша эпоха запечатлена глубже, тоньше, талантливее, чем во многих самиздатских романах, чем во многих сборниках документов.

Когда наши дети вернулись из ссылки, Галич пел на празднике возвращения. На обратном пути он сказал мне:

— Год тому назад писал "Песню Исхода", искренне верил, что останусь. А теперь решил ехать... Все очень трудно. Ты знаешь, ты знаешь больше других. Я не только обязан взять с собой Нюшку, я еще обязан там умереть после нее.

Здесь нет никаких перспектив. Не перенесу новых вызовов в прокуратуру. Жизнь еще не кончилась. Хочу повидать мир. Хочу поддержать в руках свою книжку.

А я /конечно — про себя/ вспоминала его старую песню:

**"Эрика" берет четыре копии,
Вот и все. И этого достаточно.**

Нет, напрасно он пытался себя убедить. Недостаточно. Мало кому дано знать заранее, к чему готов, к чему — нет, чем можно поступиться.

Прошло еще полтора года мучительного уезжания. Он пытался уехать как советский гражданин — на два года. Это разрешили Виктору Некрасову, Владимиру Максимову, Андрею Синявскому. Этого не разрешили Александру Галичу, в скобках — Гинзбургу.

За несколько месяцев до его отъезда я ощутила конец наших связей. Никаких объяснений между нами не происходило. Тянулись еще какие-то нити из прошлого, давнего и недавнего.

Он эмигрировал по общему, единственному пути. С приглашением от скандинавского общества новообращенных христиан. Первый год прожил в Норвегии, читал лекции

в университете Осло по истории русского театра. Переехал в Мюнхен. Оттуда — в Париж.

* * *

В первом иностранном издании песен Галича, в предисловии сообщалось, будто он сидел в лагере и воевал — автора отождествили с его лирическими героями. И сейчас большинство слушателей Галича, не знающих его, так считают.

На президиуме Союза писателей его особенно задело выступление его бывшего приятеля Алексея Арбузова, который возмущался придуманной биографией.

Выступление Арбузова — подлое в той ситуации. Но обыкновенно подлое, оно так задело Галича еще и потому, что он сам знал, что его поступки, его жизнь, его дела и его слова, — в сценарии ли, в пьесе ли, в песне ли, — нередко далеко расходились. Как и у многих людей. Как и у многих литераторов.

Все менее сговорчивая совесть властно диктовала новые слова. А человеку еще было трудно вести себя в соответствии с этим новым.

Сам процесс сочинения иной биографии лирическому герою становился одним из источников творчества.

**Пой же труба, пой же,
Пой о моей Польше...
...Пой о моем брате
Там в ледяной пади.**

Брат сидел. Мне казалось, что во время оттепели Саша даже немного завидовал ему. Но, вероятно, в гораздо большей степени испытывал облегчение, что не с ним, что снаряды упали тогда в другие воронки.

Судьба брата, она могла бы стать и его судьбой, всплывала и всплывала в самых разных песнях. Когда герой приезжает в психбольницу в Белые столбы к братану, а тот просит побыть немного вместо него:

**И халат на мне, ну, прямо, в аккурат,
Прямо на меня халат пошит...**

... В июне 1974-го года мы пришли прощаться. Насовсем. Они улетали на следующее утро. Саша страшно устал — сдавал багаж на таможне.

Он был в своей обычной позе — полулежал на тахте. Жарко, он до пояса голый, на шее — большой крест. И в постель ему подают котлетку с гарниром, огурцы украшают жареную картошку, сок, чай с лимоном.

Квартира уже полностью разорена. Но и для последнего обеда, — красивые тарелки, красивые чашки, салфетки.

Он понимал, как это больно, — нары, этап, общие работы, как это голодно, тяжело, как изменилось бы его розовое тело, покрылось бы струпьями, усохло. Этого он не хотел. Он привык, чтобы за ним ухаживали, и за ним всегда, как бы ни было худо, — находилось кому ухаживать.

Он предчувствовал, что это такое, когда

**ни спеть, ни выпить водочки,
ни держать в руке бокал...**

Он этого "возка", "черного ворона", боялся.

**Началось все дело с песенки,
А потом пошла писать...**

Песня про Александра Полежаева, — из самых личных. Мы теперь знаем, что был ордер на арест Александра Пушкина. Весьма возможно, что был и ордер на арест Александра Галича, почему, собственно, нет?

И нужна была не только отвага. Нужна была и твердость, верность себе. Он мог и сломаться. Но не сломался.

Галич не хотел для себя злой доли, не был готов к страданиям. Но тем отважнее было то, что на горло своим песням он не наступил.

А ведь когда он начинал, когда песни уже разлетались по Москве, по стране, перелетали за границу, — еще и в помине не было эмиграции, французского Пен-клуба, возможности другого выбора...

Был бы он иной личностью, — ближе к лику, к иконе, — не было бы и его необыкновенных песен.

В балладе о генеральской дочери "Караганда" — рассказ о продавщице; она родилась в Ленинграде, мать и отца арестовали "и дали обоим высшую..." и девочка попала в лагерь "детей врагов народа"... Песня, как обычно у Галича, — не об этом, о последствиях. И от имени выросшей девочки. К ней ходит "гулевой шофер". Пришел, поел, выпил, переспал с ней — и все...

**Он в карман переложил кошелек
И потопал босиком в коридор.**

И сейчас, когда я переписываю эти сто раз слышанные слова, меня пробирает дрожь, как впервые, — когда едва не стало дурно физически. Особенно мутит от сочетания с последующими строками:

Все ходит, все же любит, сучок...

Нижайшие низы падения, подоночь мерзость. Мог ли бы написать подобную строку, скажем, Окуджава? Галич это подслушал, потому что одна из многих тысяч струн его разноцветной души восприняла...

**Быть мне поспокойней
Не казаться, а быть...**

Разрыв между "казаться" и "быть" — плох. Так — по общепринятой морали, на суде совести. А законы другого суда, суда Слова — иные. Мне кажется, что именно из этого разрыва рождались стихи и песни. Рождались не только вопреки разрыву, но и благодаря ему.

Тринадцатое марта 1974 года. Проводы Майи и Павла. И последний наш с Сашей длинный разговор.

У нас человек сорок, я — хозяйка. Однако мы сидим с Сашей на кухне, говорим о его книге "Генеральная репетиция", вспоминаем долгую нашу жизнь.

— Как мне этого будет недоставать там... *

* Набрехала эти воспоминания сразу после отъезда Галича, а летом 75 г. вернулась к черновой рукописи. Жила в Доме творчества, в Перedelкино. Несколько раз мы уезжали в Москву, — шел кинофестиваль. Двери нашей комнаты не запирались.

В сентябре в почтовый ящик Л. Чуковской и еще несколькими лю-

* * *

Пятнадцатого декабря 1977 года мы узнали, что скоропостижно скончался Александр Галич.

Ни понять, ни принять, ни выплакаться — не могу.

Часто повторяла, — о других и о себе: "Отъезд — это смерть". "Аэродром похож на крематорий" — строка из трагического стихотворения Лидии Чуковской "Россия уезжает из России"...

Нет, отъезд это отъезд, а смерть — это смерть. Оказывается, когда люди уезжают, мы где-то на самом доньшке еще надеемся на встречу.

Долгие ночи без сна вижу ясно, до мельчайших подробностей: наша квартира. Не та, где мы сейчас живем: в нее мы въехали, когда Галич уже был за границей. И не та, где Галич бывал часто, читал стихи, еще не ставшие песнями, пел несчетно, рассказывал, слушал, жаловался, радовался, пил водку.

дям подбросили конверт-рукопись "О чем поет Галич" на папиросной бумаге, подписана Р. Орлова.

Начало — мое. А дальше с рукописью проделана тщательная "редакторско-соавторская" работа: выброшено все хорошее, что говорится о человеке и о поэте, оставлено /и добавлено/ то, что сказано о его недостатках. И просто искажено. Так, в подлиннике: "Выступление Арбузова, подлое в той ситуации, но обыкновенно подлое..." В новой редакции: "Выступление Арбузова, правдивое и тактичное..." и т. д.

Сомнений не могло быть: рукопись выкрали из ящика моего стола, сняли копию и "обработали". Расчет был прост: облить Галича грязью и сделать это не руками его врагов, а его давней — с детства — приятельницы.

Несколько месяцев спустя на мое имя пришла очередная анонимка: "...если вам не подадут руки за ваше гнусное выступление против Александра Галича — не удивляйтесь..." Анонимок тогда шло много, много с угрозами — убить Льва, убить нас. Эта — среди прочих.

Так КГБ или, чего я тоже не исключаю, "добровольцы из публики", вмешались в мою неоконченную работу.

Нет, я вижу квартиру моего детства, на улице Горького, где красивый Саша Гинзбург, еще не знающий, что он будет делать, — писать стихи или картины, сочинять музыку или играть на сцене, Саша, охваченный предчувствием славы, сидел за нашим разбитым пианино, пел, а мы подпевали: "У самовара я и моя Маша", "На столе бутылки-рюмочки...", "Вино любви недаром нам судьбой дано..."

Передо мной проходят видения, смешиваются разные слои времени.

Огромная комната еще не разгорожена. Мама с папой еще живы. Дочь Майка с Павликом еще не уезжали. Наши дочери, их друзья и знакомые разных эпох.

И теперь уже он, Галич, поет. Слушатели бурно реагируют. Выделяется звонкий, такой любимый смех Люси — моей сестры. Слышу Сашин голос — то глухой, то надтреснутый, то очень громкий. Я уже знаю песни, шевелю губами, шепчу, подсказываю, когда он забывает.

И стоит посреди комнаты большой стол, и водка с закусками, и чай с сухариками из нашей юности.

Я вижу эту картину так ясно, словно все это когда-то и впрямь произошло.

Так не было. И не будет. Саша умер.

Не все уехавшие исчезли, некоторые остались в любви и в отталкивании, в дружбе и во вражде, в связанности и в недо-споренности.

А Галич после отъезда исчез. Мы не переписывались. Изредка я читала его новые стихи. Видела его в немецком телефильме "Новая русская эмиграция в Париже". Слушала рассказы о том, как его концерты проходят в разных городах мира.

Галича в наших жизнях словно бы и не было.

Нет, он был. Иначе так больно не ударило бы тем смертельным парижским током. Боль требовала немедленного выхода: слов, слов, торжественного молчания. Ритуала.

Похоронить его мы не можем.

Где же та большая квартира, которая могла бы вместить всех, кто его любил, кому так же больно, как больно мне,

кто не скажет рассудочно: "Так ему лучше, мгновенная смерть..."

Семнадцатого декабря панихида в церкви, в Брюсовском переулке.

Моя церковь. Помню себя лет с трех. Значит, едва открыв глаза на мир, я видела купола этой церкви из окна моей детской, купола и четырехверхнюю кирху. Тогда, полвека тому назад, Тверская и Брюсовский переулок были ближе друг к другу, чем улица Горького и улица Неждановой. Дом наш отодвинули вглубь двора и новые высокие построили, да и в детском сознании смещаются предметы, люди, события.

Няня сначала повела меня к Иверской Божьей матери, а потом сюда, в Брюсовский. Здесь я впервые вкусила тело и кровь Христову. Сюда я ходила и расставшись с Богом моего детства, когда на фронте погиб мой первый муж, Леонид Шершер, друг Сашиной юности.

Прошло еще тридцать пять лет. Снова вошла в эту церковь. Отстояла зауспокойную службу, — длинное перечисление неизвестных мне людей. Потом проповедь владыки Питирима, блистательного оратора, о великомученице Варваре и Иоанне Дамаскине.

И, наконец, отдельная панихида по рабу Божьему Александру. В боковом приделе нас сбилось в кучку семеро: З. К., Е. С., Н. К., Ф. С., И. Х., Б. Ш. и я. Пятеро, кроме Игоря, мне чужие. Наши пути мельком перекрещивались.

Молодой священник говорит торопливо, резко взмахивает кадилом. Они шестеро истово крестятся. Коля и Борис порой опускаются на колени.

Когда я одна в церкви, я тоже иногда крещусь. Как в детстве. А при других, при них, — не могу и не должна.

Вот где я отщепенка.

— Вы тоже пришли сюда, Рая? — спрашивает Коля.

— Нет, Коля, я пришла к Саше.

Я не бывала с Сашей ни в этой, ни в какой другой церкви. Я с ним пила вино и целовалась в Брюсовском переулке, в квартире Тамары Зейферт, — она тогда училась в студии Большого театра.

Мы встретились до того, как и к нему, и ко мне пришел свой черт и предложил подписать договор, написанный не кровью, а чернилами.

Если каждый, стоявший рядом со мной в церкви, на самом деле верит в то, что они с Сашей еще встретятся на небе, какие же это счастливы! Как я им завидую!

А я начинаю, только начинаю знать, что он умер. И, значит, умерла и часть меня. Гораздо большая, чем мне казалось.

Другом в истинном смысле слова он никогда не был. Но было в нем нечто незаменимое. В этом уголке души, — черная дыра. Пустота.

Саша. Которого я-то уже никогда не увижу ни в Москве, ни в Переделкине, ни в Дубне, ни в Париже, ни в Царствии Небесном. Нигде.

"Прости ему грехи вольные и невольные..."

Не могу сейчас думать ни о его, ни о своих, ни о чьих грехах. Не могу думать даже о песнях, хотя новых больше не будет. Только о нем.

Сейчас я помню о нем только хорошее, только его необыкновенную одаренность и общую нашу бездумную юность. За которую так дорого пришлось платить.

Пыталась перечитать воспоминания, написанные мною три года назад — теперешнюю первую часть. Не могу, задевает. Та, другая правда, может, и вернется, но не сейчас.

Сейчас мучительно не хватает того страшного дня, который мне, оставшейся, необходимо провести с ушедшим: подойти к гробу, ужаснуться изменившемуся лицу, положить цветы, поцеловать в лоб. Потом, оледенев от холода и горя на кладбище или в крематории, согреться на поминках, — водкой, едой, ощущением локтя, — мы, те, кто любили его, мы вместе. Мы пьем его "стопаря" за упокой его души. Я-то думаю, что его душа успокоится не в Брюсовской церкви, и уж, конечно, не в Парижской, а в "храме ре-минорной токкаты..."

Мы поминали Сашу вчетвером с моей сестрой Люсей и ее мужем Мишей, слушая его песни. Когда Люся получила эту маленькую квартирку на Варшавском шоссе /еще не от-

ремонтированную/, Саша прожил в ней дней десять, как обычно, уезжая из своего дома, чтобы писать. И здесь его сразу же окружили тахта, шторы, торшер. Вещи увезли, но какая-то частица его души осела и на этих стенах.

Хорошо, что с родными — слушаем, смеемся, узнаем, знаем.

Но я все еще не оплакала, не похоронила его. Нужна та большая квартира и тот большой стол из моих видений, и любящие его все вместе, нужно, чтобы лились и лились песни, много, гораздо больше, чем можно вместить, нужно, чтобы шли люди, знакомые и незнакомые, родные и чужие.

Ведь и мне он был — чужой и родной.

Фридрих ГОРЕНШТЕЙН

БЕРДИЧЕВ

Драма в трех действиях, восьми картинах, 92 скандалах

Картина 6-я

Часть бульвара в центре Бердичева. У входа на бульвар гранитный обелиск и горит "вечный огонь". У "вечного огня" два пионера с учебными автоматами. Вдали крыши домов, шпиль церкви и над всем — водонапорная башня. Через бульвар — лозунг-транспарант: "Привет ветеранам Бердичевской дивизии. 1944-1969 гг." И второй лозунг: "Да здравствует 9-е мая — День Победы". Теплый солнечный день, на каштанах бульвара свежая майская листва. Бульвар полон пожилыми людьми, бряцающими орденами и медалями, и прочей, празднично одетой публикой. Слышна музыка. Среди гуляющих Рахиль и Злота. Рахиль сильно постарела, Злота постарела меньше, выглядит почти так же, как и тринадцать лет назад, но двигается еле-еле, опираясь на руку Рахили.

Рахиль. Ну, Злота, как ты себя чувствуешь?

Злота. Ой, что-то мне кружится голова. Зачем ты меня вытащила? Лучше б я сейчас сидела себе на балкон.

Рахиль. Злота, ты делаешь уже свои номерочки? Ты ведь сама хотела идти...

Злота. Я хотела, но у меня нет здоровья. Дай Бог, чтоб

мне конец был хороший... *(Всхлипывает)*. Я раньше так хорошо ходила.

Рахиль. Ша, Злота, люди ведь смотрят... Чтоб ты онемела... Вот она сейчас сделает мне праздник...

У обелиска выступает культмассовик.

Культмассовик. Товарищи, сейчас наш заводской поэт Борис Макзаник, инженер отдела технической информации, прочтет свои стихи, посвященные Бердичевской дивизии.

Рахиль *(Злоте)*. Как тебе нравится, Макзаника называли инженер. Какой он инженер, он же машиностроительный техникум кончил.

Злота. Я к Макзанику ничего не имею. Он, когда меня видит, всегда говорит: здарсьте, тетя Злота, и всегда про Вилю спрашивает, как он.

Макзаник *(читает)*.

**Приказом Сталина ты возвеличена,
Сияет солнце на орденах,
Моя дивизия у стен Бердичева
Себя прославила в грозных боях... *(Аплодисменты)*.**

Злота. Вот идет Йойна и Быля... Йойна Шнеур...

Рахиль. Смотри, какую он одел шляпу. Его шляпа держит меня в Бердичеве. А Быля идет и дует от себя. Конечно, если ее муж заведует буфетами на железной дороге, то можно быть большой у себя.

Злота. Я Былю очень люблю...

Рахиль. Сейчас я их позову и ты сможешь наговорить на меня.

Подходят Быля и Йойна. Он в орденах и медалях.

Йойна. С праздником. *(Здоровается с Рахилью и Злотой за руку)*.

Быля. Злотка, ты вышла немного на бульвар, Злотка?... Слава Богу... Надо немного проветриться...

Рахиль. Она вышла... Это я ее вывела. Так она уже устроила мне концерт, почему я ее вывела. Ой, Быля, я имею от нее отрезанные годы.

Злота. Ну, она любит на меня наговаривать. Мне кружится голова.

Рахиль. Ой, что я от нее имею. На прошлой неделе, после майских праздников, когда стало тепло, она мне говорит: я хочу в баню... Гит, ты хочешь, идем... Пока мы раздевались, все было хорошо. Но как только мы разделись и вошли в самую баню, ну, уже где моются, как она села и все... И ей плохо... В общем, я должна была взять ее на руки как ребенка, зейве а кынд, и вынести из бани *(смеется)*.

Злота. Хороший смех, я могла там кончиться. Я такая больная...

Рахиль. Я тоже больная и все-таки я хожу и таскаю такие сумки на лестницы...

Злота. Кто тебе виноват, что ты едешь каждую неделю в Житомир и таскаешь там сумки с продуктами. Ей нельзя. У нее астма, но что можно сделать, она такая...

Рахиль. А как же... Это ж мои дети... У Люсиньки после родов что-то с желчный пузырь... Ой, горе... Когда она родила Алла, так ей сказали, что больше рожать нельзя... А Петя хотел еще ребенок, он хотел мальчик, так родилась Эллада... Чтоб мне было за каждую их косточку...

Йойна. А как зять?

Рахиль *(вытирает глаза)*. Зять ничего, Петя ничего... Он Люсю любит. Он считает, что она самая красивая. Люся в Житомир пользуется большой авторитет. Есть полковник, есть врачи, есть один, что он работает в юстиции, есть подполковники. Все они уважают Люсю. Но Петя всех их ревнует. Он говорит: моя жена самая красивая... Ну, все-таки Люся — учительница по математике, чтоб мне было за ее кости...

Быля. Рахиль, а к тебе он хорошо относится, к тебе он?

Рахиль. Ко мне? Ничего... Он только сказал: теща,

когда вы у нас жили, у нас ушло много картошка. *(Смеется)*.

Б ы л я. А как Рузя?

Р а х и л ь. Ничего. Они живут у его мамы. Отец умер, Григорий Хаймович... Ничего... Умер, так на здоровье... Ребята большие... Марик в армии, Гарик тоже должен быть в армии, но он получил отсрочку по болезни. Ой, сколько мы переживали, когда прошлый год, в август месяц, началась эта война в Чехословакии. Рузя чуть с ума не сошла. Марик ведь в Чехословакии. *(плачет)*. Я им всю жизнь отдала. Я свою жизнь ради них потеряла. Я после Капцана осталась вдовой в 37 лет.

Й о й н а. Вот это ты напрасно сделала. Кстати, ты знаешь, Исак Бронфенмахер приехал.

Р а х и л ь. Что ты говоришь?

Б ы л я. И как приехал, на своей машине из Москвы... На "Волге"... Вместе с женой. Он ведь там женился, взял жену с большими деньгами.

Р а х и л ь. Ничего... У меня никогда не было больших денег, я всю жизнь работала, чтоб иметь лишнюю копейку для детей.

З л о т а. Сколько ж его жене лет?

Б ы л я. Шестьдесят. А ему шестьдесят пять.

З л о т а. А как ее зовут?

Б ы л я. Вера Эфраимовна.

Р а х и л ь. Она Вера Эфраимовна, а я у себя Рахиль Абрамовна.

Б ы л я. Фамилия ее Овечкис. Очень хорошая женщина. Ей шестьдесят, но выглядит она на сорок пять, красиво одевается, туфли на шпильках, как девушка. И брат с ней приехал, научный работник.

З л о т а. Наш Виля еще когда-нибудь будет научный работник.

Б ы л я. Он не женился?

Р а х и л ь. Нет... Ой, горе...

З л о т а *(сердито)*. Что за горе... Он должен учиться.

Р а х и л ь. До скольких же лет учатся?

Й о й н а. Вечный студент *(смеется)*.

Р а х и л ь. Да, вечный студент. Что ты скажешь, Йойна? А? Лишь бы она посылает ему посылки.

З л о т а. Это не твое дело... Ты своим детям все отдаешь, ты Рузе хочешь отдать большую комнату, и Петины родители построили им с Люся квартиру, а я не могу послать посылку с перетопленным салом? Я не твое посылаю.

Р а х и л ь. Ша, Злота, не кричи... С ней же нельзя начинать... Ой, я от нее не могу выдержать.

З л о т а. Она хочет быть надо мной хозяйкой. Она хочет меня взять себе под ноги.

Р а х и л ь. Ша, Злота, сегодня же праздник, День Победы. Может, ради праздника мои уши от тебя отдохнут.

Й о й н а *(смотрит на часы)*. Ну, пойдём, Быля. У нас возле башни встреча с Исаком Бронфенмахером.

Б ы л я. Мы еще увидимся. *(Они идут дальше)*.

Р а х и л ь *(смотрит им вслед)*. А если нет, так тоже не страшно.

З л о т а. Боже мой, Боже мой... Как мухи в уборной, так ты шумишь...

Р а х и л ь. Ша, Злота, закрой пасть... Мне нужна эта Былечка... Ходит и дует от себя. А Йойна в шляпе. Если б не его шляпа, я б давно уехала из Бердичева. Его шляпа держит меня в Бердичеве... Ты ж понимаешь, ее Мэра переписывается с Мариком... Рузе как раз нужна для Марика такая жена, как Мэра...

Мимо навеселе проходят ветераны.

Первый ветеран. Самая легкая деталь танка весит 64 килограмма.

Второй ветеран. А ты обмотки носил?

Третий ветеран. На фронте мы раз в пять дней если... Газы распирают... Просто схватишься за живот и по земле катаешься.

Первый ветеран. Из-за живота я раз чуть к немцам не попал. Во время отступления приступ аппендицита. Санитар подбегает: ты ранен? Нет, живот болит. Ах, живот, ну, это ерунда, сам иди. А меня скорчило, идти не могу.

Проходят ветераны, среди которых полковник Маматюк и полковник Делев без глаза, со звездой Героя. Рядом с ними жены. Увидав Злоту и Рахиль, Делева поздоровалась.

З л о т а (кричит). Мадам Делева, вам завтра можно на примерка.

Рахиль. Ты уже совсем сумасшедшая. Какая мадам, если она член партии, а ее муж Герой Советского Союза. И что ты кричишь, чтоб все знали про твою работу. Чтоб тебе рот скривило, как ты кричишь.

З л о т а. Ой, ой, я не могу жить...

Рахиль. Тише, немая и глухая чтоб ты стала. Люди смотрят. Еще схватись за свои косичечки, начни танцевать пердела-мешке.

Проходят четвертый и пятый ветераны.

Четвертый ветеран. Израиль насыпал стену песку перед окопами. Но наши огненный луч применили...

Пятый ветеран. Я положительно относился к еврейскому вопросу, пока не узнал, как после революции евреи разрушали русские церкви. Каганович руководил. Ворошилов Климентий Ефремович, как узнал, к Сталину кинулся. Сталин Кагановича вызвал, тот ему глаза замазал... Знаешь, они умеют.

Ветераны поют: "Непобедимая и легендарная, в боях познавшая радость побед..."

Куль т а с с о в и к. Товарищи, на этот мотив наш заводской поэт Борис Макзаник сочинил новый текст... Песня называется "Марш Бердичевской дивизии" (поет). "Приказом Сталина ты возвеличена, сияет слава на орденах, моя дивизия у стен Бердичева себя прославила в грозных боях".

Проходит группа комсомольцев в униформе защитного цвета, которые поют: "Когда суровый час войны настанет, и нас в атаку партия пошлет..."

Полковник Маматюк (кричит, покраснев, дергая головой). Неправильно поют. Надо петь: "Тогда нас в бой лошлет товарищ Сталин и первый маршал в бой нас поведет..." Почему слова переделали?

Ж е н а М а м а т ю к а. Идем, Харлампий, идем. (Уводит его.)

По бульвару идет Бронфенмахер, сильно поседевший. Одет по столичному. Рядом с ним полная молодящаяся старуха с крашеными волосами и мужчина средних лет в очках.

Рахиль. Злота, вот же Бронфенмахер. А это, наверное, его жена. Смотри, как они одеты, как большие профессора (кричит). Бронфенмахер!

З л о т а. Ша, что ты так кричишь?

Рахиль (кричит). Бронфенмахер!

Б р о н ф е н м а х е р. Ой, это же Луцкая... (Подходит, целуется с Рахилью и Злотой). Ты, Рахиль, потолстела... А Злота не изменилась... Ты потолстела...

Рахиль. Старость.

Б р о н ф е н м а х е р. Я тоже так говорил, пока не женился. Познакомься, это моя жена.

В е р а Э ф р а и м о в н а. Овечкис Вера Эфраимовна.

Рахиль. Луцкая Рахиль Абрамовна. А это моя сестра Злота.

З л о т а. Я Злота Абрамовна (смеется). Я тоже у себя большая.

Б р о н ф е н м а х е р. Молодец, Злота Абрамовна. Вы же старше Рахили на семь лет, а выглядите моложе. Когда человеку хорошо на душе, он всегда молодой. Как вы тут живете? Как дети?

Рахиль. Дети уже имеют детей, чтоб мне было за их кости. У Рузи двое мальчиков, так это золото, а у Люси двое девочек, так это бриллианты.

Б р о н ф е н м а х е р. А как ваш брат Сумер? Где он?

Рахиль (вздыхает). Где Сумер... Сумер в тюрьме...

Б р о н ф е н м а х е р. Что вы говорите... И по какой статье?

Рахиль. Не за воровство. Ты же знаешь, Бронфенмахер, что вором он никогда не был. У нас в семье это не принято. Мы всегда жили бедно, но честно. Когда до революции наша покойная мама сварила суп из картошки, так у нас был веселый день.

Бронфенмахер. За что же все-таки сидит Сумер?

Рахиль. За халатность.

Овечкис. Плохо спрятал *(смеется)*.

Рахиль. Зачем вы так говорите, извините, не знаю кто вы?

Вера Эфраимовна. Он шутит. Это мой брат.

Бронфенмахер. Извините, совсем забыл познакомиться. Это брат Веры Эфраимовны, научный работник. А это Рахиль Абрамовна и Злата Абрамовна.

Овечкис. Овечкис Авнер Эфраимович.

Рахиль. Товарищ Овечкис, наш брат всегда работал на ответственной работе, он всегда был заведующий, но государственную копейку он никогда не брал.

Бронфенмахер. Как же все-таки получилось?

Рахиль. Зашел один, чтоб он ходил на костылях, и заказал себе в артели у Сумера, чтоб ему уже заказывали гроб, этому гою, заказал костюм... Так ему костюм испортили... Бывает. Так он написал в газету и была проверка и Сумеру дали три года... Ему еще три месяца сидеть... В прошлом году он заболел *(плачет)*. Еще хорошо, что здесь знакомые, так его на час привезли домой, чтоб никто не знал... С конвойным... Его сначала хотели отправить под Винницу, но, слава Богу, он тут на сахарном заводе... Ты думаешь, это так просто?

Бронфенмахер. Я понимаю.

Рахиль *(плачет)*. Все деньги, которые были, уже ушли. Мы помогаем чем можем, но у меня самой нету и у нее нет.

Овечкис. Не расстраивайтесь, три месяца не такой уж большой срок, тем более здесь, в Бердичеве. Люди сидели в Сибири по 17—20 лет в концлагерях... Здесь у вас, в Бердичеве, как я заметил, вообще любят все преувеличивать, здесь все громко... Говорят громко, смеются громко и вообще бердичевские нервы.

Рахиль. А мне Бердичев нравится. Мы здесь родились. Злата. Зачем ты так говоришь. Мы родились в Уланове, в местечке. Я Доня с правдой.

Рахиль. Вечно она меня перебьют. Мы родились в Уланове, но нас маленькими детьми привезли в Бердичев.

Овечкис. Да, здесь очень любопытно. Я решил, проедусь на праздник с сестрой. Когда говорят Бердичев, все равно, что говорят еврей... Слышишь Бердичев, Бердичев, а что такое Бердичев, не знаешь. У Чехова в "Трех сестрах" один из персонажей говорит, что Бальзак венчался в Бердичеве.

Злата. Чьи сестры?

Рахиль. Она совсем глухая.

Злата *(обиженно)*. Почему я глухая? Она любит на меня наговаривать.

Рахиль. Товарищ Овечкис говорит, что в книге у Чехова, что, я Чехова не знаю, это такой писатель... Когда моя Люся, чтоб мне было за ее кости, окончила 8 классов, так ее премировали книгой Чехова за то, что она отлично училась и хорошо танцевала в самодеятельности. А если б вы знали, товарищ Овечкис, как ее отец танцевал... Так к чему это я говорю... У этого Чехова написано про Бердичев, что здесь женился один большой человек...

Злата. Я когда-то читала книга про Бердичев. Я раньше очень любила читать, а теперь у меня глаза болят. Так там описано, какие в Бердичеве были погромы.

Рахиль. Что ты говоришь, Злата, при чем тут погромы?

Овечкис *(смеется)*. Ничего, ничего, очень интересно. Мне рассказывали, что как-то недавно сюда приезжали французы, чтоб узнать, где венчался Бальзак. Так они зашли в башню в центре города, а это, оказывается, водонапорная башня... В Париже Эйфелева башня, в Бердичеве — водонапорная *(смеется)*. Там сидел водопроводчик, который понятия не имел кто такой Бальзак. Он думал, что Бальзак — это какой-то бердичевский еврей, к которому приехали родственники *(смеется)*.

Рахиль. Эта башня уже стоит девяносто лет.

О в е ч к и с. Сейчас мы шли мимо дома, где венчался Бальзак. Бывший костел святой Варвары... Возле двери большая вывеска "Детская спортивная школа", рядом поменьше "Этот дом посетил Бальзак". Когда он его посетил, по какому поводу — неясно. Создается впечатление, что Бальзак в детстве посещал Бердичевскую спортивную школу.

Б р о н ф е н м а х е р (*Рахили, тихо*). Клигер ид... Умный еврей...

Р а х и л ь. Ну, у вас в больших городах все по-другому.

З л о т а. А с Былей и Йойной вы виделись? Они шли вас искать.

Б р о н ф е н м а х е р. Мы, наверно, разминулись. Они нас на обед сегодня пригласили.

З л о т а (*Вере Эфраимовне*). А какие фасоны теперь носят в Москву? Я про свое спрашиваю (*смеется*).

Б р о н ф е н м а х е р (*Рахили, тихо*). Рахиль, я тебе честно скажу, я раньше не знал, что такое жена... Пусть Бебе земля будет пухом, но я не знал, что такое жена. Был молодой и не знал. А теперь, когда я женился на Вере, я понял, что такое жена.

В е р а Э ф р а и м о в н а. Ну, мы пойдем.

Р а х и л ь. Идите здоровые (*вслед, тихо*). Если нет, так тоже не страшно... Ты думаешь, я забыла, как он хотел пробить в моей стене дверь и носить через меня помои... На обед они идут... Он уже забыл, как ходил на костылях и его жена и ее брат тоже будут ходить на костылях... Москвичи... (*Смеется*).

З л о т а. Зачем ты проклинаешь людей?

Р а х и л ь. Ничего, он над Бердичев смеется, а эта жена Бронфенмахера одела туфли на тонкий каблук и думает, что хув-сим будет ей шестнадцать лет... Как тебе нравится, он раньше не знал, что такое жена... Кавалер, хороший кавалер у своей Верочка. Сразу видно, что в молодости эта Верочка была глухая. Мужчина ей говорил садись, а она ложилась.

З л о т а. Я помню, как до войны носили фасон, который назывался "мужчинам некогда"... Молния спереди от верха платья до низу (*смеется, потом хватается за сердце*). Ой-ой-ой...

Р а х и л ь (*испуганно*). Что такое?

З л о т а. Что-то сердце колет.

Р а х и л ь. Злата, я железная, что я от тебя выдерживаю... Идем-ка домой (*встают и идут к выходу с бульвара. На бульваре продолжается гулянье, песни, смех*),

З л о т а (*подносит ладонь ко лбу*). Это Гарик идет на встречу?

Р а х и л ь. Ой, я не могу выдержать... Гарик опять ходит с Лушиной Тинкой... Если Рузя узнает, она ему побьет морду... (*Кричит*). Гарик, иди сюда... Гарик...

Г а р и к (*подходит*). Что ты кричишь, баба?

Р а х и л ь. Гарик, ты уже забыл, как тебя мама и папа били? Что ты ходишь с этой шиксой... этой гойкой... Ты хочешь горе...

Г а р и к. Баба, закрой пасть... А с кем чтоб я ходил? С толстой маланкой?

Р а х и л ь. Ах ты, сволочь. На еврейку он говорит маланка. Так твоя же мама тоже маланка. Вот так как я держу руку, так я тебе войду в лицо.

Г а р и к. Заткнись, дура (*подходит к Тине, берет ее об руку*). Баба, слышишь (*поет*). Скажите ей, что я еврей, что я женюсь, женюсь на ней (*Гарик и Тинка, хохоча, уходят*).

Р а х и л ь (*кричит вслед*). Гарик, я маме скажу...

З л о т а. Боже мой, Боже мой... Тинка очень вежливая, хорошая девочка... Красивая, кончила медучилище...

Р а х и л ь. Вот вторая сумасшедшая... Пусть она будет красивая, но не для нашего Гарика... Валя, которая ездит к нам из Семеновки мыть полы, говорит, что Луша имела Тинку от немца... Она при оккупации жила с немцем.

З л о т а. Тише, вон Рузя и Миля идут... Чтоб ты не смела им говорить про Гарика.

Р а х и л ь. Боже паси. Что мне нужен крик. Ой, горе, горе. Где только есть горе, оно цепляется к нашей семье... А Милечка тоже в шляпе. Теперь где кусок, извините за выражение, так оно носит шляпа... Смотри на Милю, его шляпа держит меня в Бердичеве.

Подходят Рузя и Миля.

Миля (*Рахили*). С праздником.

Рахиль. Тебя тоже... Ты в Житомире купил эту шляпу?

Миля. Глину меси, а шляпу носи (*смеется*).

Рузя. Вы Гарика не видели?

Рахиль. Нет, он, наверно, с товарищами.

Рузя. Если я его увижу с Тинкой, так я ему разобью морду при всех людях.

З л о т а. Рузя, ты видела Бронфенмахера?

Ру з я. Ай, зачем мне этот Бронфенмахер, мне Гарика найти надо.

Рахиль. Ну где ж я тебе его найду? Что ты имеешь ко мне претензии? Что, это я его сосватала с Тинкой?

Ру з я. Ай, мама, с тобой говорить, так надо гороху накучаться... Идем, Миля (*уходят*).

Рахиль. Что ты скажешь, Злота? Горох она хочет кучать... Я тебе скажу, Злота, она хуже Мили... Он не такой плохой, как она его делает плохим... Это та еще Рузичка. Она думает, что я не помню, как в 47-м году она порвала на мне рубашку.

З л о т а. Ты же хочешь опять с ними жить.

Рахиль. Подожди, я еще не решила... Чуть что они прыгают мне в лицо... Чтoб из них душа выпрыгнула...

З л о т а. Боже мой, Боже мой, эти проклятия... (*Они идут по бульвару.*)

М а к з а н и к (*читает у обелиска нареспев, подражая московским поэтам*).

**Тонны камня и металла бросив ввысь,
Обелиски, как по команде "Смирно!" поднялись.**

**Они стоят как символы отваги, как символ непокорности людей.
Защищавших родину когда-то от армии, в которой главный был
злодей...**

Отстояли! Но какой ценою. Сколько не вернулося назад.

Именно для них, как по команде "Смирно!"

Обелиски эти и стоят... (*Аплодисменты.*)

К обелиску подходят полковник Маматюк и полковник Делев с женами. Они обнажают головы, смахивают ладонями слезы.

М а м а т ю к (*Делеву*). Здесь лежат похоронены все нации, защищавшие родину... Все нации, кроме жидов...

Рахиль (*Злоте*). Ты слышала, что он сказал?

З л о т а. Идем домой, Рахиль, что-то мне колет сердце...

Рахиль. Нет, ты слышала, что он сказал, этот гой? Чтoб его гром убил и второго тоже вместе с их женами и детьми.

З л о т а. Идем домой, он же не тебе это сказал.

Рахиль. Ничего... Мой муж убит, а он будет говорить такие слова... Я ему морду побью...

З л о т а. Ой, я не могу жить. Она хочет иметь горе... Вот они уже ушли.

Рахиль. Ничего, я пойду за ними... Я не посмотрю, что Делева твоя заказчица, а Делев Герой Советского Союза... Мой муж убит, а он так будет говорить... (*Плачет*). Ты здесь стой.

З л о т а. Ой, мне плохо...

Рахиль. Ничего, теперь всем плохо... Я сейчас приду. (*Уходит*).

Проходят Овечкис, Бронфенмахер, Быля и Йойна.

Б ы л я. Злотка, что ты плачешь, Злотка? Ой, вэй з мир... Что случилось, где Рахилька?

З л о т а (*даваясь слезами*). Она пошла... Я не могу жить... Она пошла спориться с полковник...

Быля. С каким полковником? Что случилось?

З л о т а (*плачет*). С полковник... Ой, ее же могут арестовать...

Входят полковник Маматюк и полковник Делев с женами. За ними Рахиль.

Жена М а м а т ю к а (*Рахили*). Что вы ходите за нами, базарная баба... Что вы к нам привязались...

Рахиль. Ваш муж будет говорить, что здесь лежат все нации, погибшие за родину, кроме жидов... Негодяй... Контр-революционер...

М а м а т ю к *(побагровев, дергая головой)*. Бы... Жи... Сионистка!

Жена Делева. Замолчи, Харлампий, пойдем...

Рахиль. Я сионистка?! Сморкач... Я член партии с 28-го года... Мой муж типографский рабочий, член партии с 1930-го года... Убит на фронт. Так ты говоришь, что я сионистка?..

З л о т а *(плачет)*. Быля, Йойна, заберите ее... Я вас умоляю...

Рахиль *(плачет)*. Ах ты, Гитлер... Ты думаешь, я тебя боюсь, что ты бросаешь головой...

М а м а т ю к *(хрипит, дергает головой)*. Спекулянтка... Бы... Жи... Я из тебя мясо сделаю...

Рахиль. Ты из меня сделаешь мясо?.. Вот так, как я держу руку, так я войду тебе в лицо...

Жена М а м а т ю к а. Харлампий, уйдем... Я тебя прошу... *(К Делеву)*. Филипп, помоги его увести, у него рана в голове может воспалиться. *(К Рахили)*. Ты, базарная скандалистка, мой муж имеет пять ранений за родину...

Рахиль. А мой муж совсем убит за родину... Так твой негодяй будет говорить, что в братской могиле все похоронены, кроме жидов... Он мне будет кричать сионистка... Чтоб упало дерево и убило вас обоих... Чтоб наехала машина и разрежала вас на кусочки... Ты блядюга...

Б р о н ф е н м а х е р. Да, Рахиль ничуть не изменилась... У нее рот как помойная яма... Уйдемте отсюда, здесь неприятно находиться...

Й о й н а. Идем, Быля, идем...

Б ы л я. Но ведь Злота тут... Ой, Злотка, сколько она от этой Рахильки терпит, сколько... Злотка, иди сюда... Злотка...

З л о т а *(плачет)*. Куда я пойду, когда здесь моя сестра *(подходит к Рахили)*. Рухл, идем домой, мне плохо *(Рахиль, ничего не отвечая, плачет. Полковник в отставке Делев, его жена и жена Маматюка уводят дергающего головой полковника в отставке Маматюка)*. Рухл, идем домой, я тебя прошу.

Рахиль. Иди, я тебя не держу. Иди с Былечкой, с этой блядюгой...

З л о т а *(хватается за лицо)*. Ой, Боже мой, люди ведь смотрят...

Рахиль. Пусть смотрят, это ты их боишься, я не боюсь *(плачет)*. Я сейчас пойду за этим Гитлером, возьму камень и ему разобью голову... Одер ойт, одер тойт... Или кожа, или смерть...

Возвращается полковник Делев, поблескивая звездой Героя. Подходит к Рахили.

Делев *(Рахили)*. Товарищ Капцан, Маматюк неправильно поступил, я ему сделал внушение *(Рахиль стоит молча, ничего не отвечая. Делев уходит)*.

З л о т а *(тихо)*. Рухл, идем домой... *(Берет ее об руку и обе сестры медленно идут с бульвара)*.

По бульвару идет группа ветеранов и немзыкально поет: "Моя дивизия у стен Бердичева себя прославила в грозных боях, себя прославила в грозных боях..."

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Картина 7-я

В большой комнате тесно от мебели. Старая мебель Рахили зажата новой полированной мебелью Рузи. Появилась тумбочка с телевизором, раскладная диван-тахта, крытая ковром, холодильник. Бюст Ленина по-прежнему стоит на книжном шкафу, но портрета Сталина уже нет. Зимнее утро. Миля, седой, полуголый, с распаренным потным телом, играя мышцами, в спортивных штанах и тапочках делает зарядку. Из соседней комнаты изредка выглядывают то Злота, то Рахиль. Злота смотрит исподтишка, с улыбкой, а Рахиль смотрит прямо и беззвучно смеется. Сделав приседания, Миля начинает выбрасывать вперед поочередно то левую, то правую руку, сжимая при этом пальцы. После этого выбегает полуголый на кухню.

Рахиль. Ну так можно жить? Голый он побежал на улицу тереть тело снегом. Может, с Божьей помощью он уже начнет бегать по улицам и бить окна. Может быть, его увезут в Винницу, в сумасшедший дом, и мы от него избавимся.

Злота. Ай, Рухл, что ты говоришь... Ну, он физкультурник...

Рахиль. Хороший физкультурник... Бегаёт с гоями купаться на речку в проруби... Физкультурник... И Рузе не стыдно перед городом за такого мужа... Физкультурник... Вот так вот он делает *(выбрасывает вперед руки и сжимает пальцы, кривит лицо, надувает щеки)*. Вот так вот... Хопты флиген... Ловит мух...

Злота. Ша, Рухл, зайди но сюда... Вот он уже идет назад.

Рахиль заходит в маленькую комнату. Слышно, как хлопнула дверь и вбегает Миля с красным, мокрым телом. В руках его комки снега, которыми он трет тело, кричит и поет: "Румба, закройте двери, румба, тушите свет, румба, да поскорее, румба, терпенья нет..."

Рахиль. Злота, что ты скажешь... А лиделе... Песенка... У него нет терпения...

Злота. Перестань, Рухл. Это песня такая.

Миля вбегает, покосился на дверь в маленькую комнату, но ничего не сказал. Звонок.

Рахиль. Вот я открою. *(Идет и возвращается с Гарилом)*. Ну, где ты был, Гарик?

Гарик. Какое твоё дело?

Рахиль. Что мне до тебя за дело... У тебя есть папа и мама...

Гарик *(кричит)*. Баба, заткнись!

Миля. Гарик, я тебе сейчас дам по губам. *(К Рахили)*. А вы тоже не вмешивайтесь, вы же видите, в каком он состоянии.

Злота. Рухл, я тебя прошу, иди сюда...

Гарик. Ну, как зарядка, батя?

Миля. Полный порядок. Вот снегом натерся. Я тебя тоже в это дело втяну. Сразу другим человеком станешь. Я ведь помню, как раньше себя чувствовал, мышцы как кисель, желудок больной. Это лучше любого курорта — зарядка, зимнее купанье *(кряхтя, вытирает тело махровым полотенцем, одевает майку, спортивный свитер)*. Пойди, сынок, раздень пальто, я тебе кое-что подарить хочу.

Гарик уходит на кухню, раздевает пальто и возвращается.

Миля *(садится к столу)*. Сядь, сынок, я тебе фотографии хочу подарить зимнего купания *(достает пачку фотографий)*. Вот видишь, я в плавках и купальной шапочке на снегу босыми ногами. Вокруг народ в тулупах мерзнет, а мне не холодно. На этой фотографии я тебе делаю такую надпись: "Здоровье на снегу не валяется, его надо укреплять". И расписываюсь. А вот другая. Я по горло в ледяной воде. Пишем: "Не холодная вода страшна, а страшно, когда об этом рассуждают". Понял, сынок? А вот я стою голыми ногами на льду у проруби и держу в руках кусок льдины, как букет. Пишем: "Я люблю физическую культуру, она мне отвечает взаимностью". Подпись... Вот так... Начнешь заниматься физкультурой, все свои глупости забудешь... Сейчас мы с тобой на речку пойдем... Одевайся...

Рахиль *(высовывается из маленькой комнаты)*. Что значит на речку? Он же еще не завтракал...

Гарик. Баба, закрой пасть...

Рахиль. Пусть идут, что мне за дело... Рузя будет кричать, что он Гарика взял с собой на речку, но при чем здесь я...

Злота. Ша, Рухл, зайдем-ка к себе... Вот они возвращаются, дверь хлопнула.

Входит Сумер с кошелкой.

С у м е р. Что у вас дверь открыта?

Ра х и л ь. Почему ты заходишь и никогда не здороваешься?

С у м е р (*смеется*). Слышишь, Злота? Рухел уже хочет со мной ругаться... Я спрашиваю, почему дверь открыта.

Ра х и л ь. Физкультурник ушел. Он же ходит на речку и раздевается голый и бегаёт там как сумасшедший по снегу. И купается в прорубь. (*Смеется*). Пусть он купается, но зачем он ребенка берет с собой, зачем Гарика берет с собой...

С у м е р. А что слышно у Гарика?

З л о т а. Ой, несчастье... Он только хочет жениться на Тинке...

Ра х и л ь. Ой, Сумер, я железная, что я все это выдерживаю. Лучше находиться в тюрьме, где ты был два года, чем это выдерживать.

С у м е р (*смеется*). Ты хочешь в тюрьму? У меня там осталось много знакомых. Даже попки, что сидят на вышке с оружием, мои знакомые. У меня там был швейный цех. Мы шили мешки, спецодежда, все, что надо мы шили. Баланду я не ел, у меня всегда был лишний кусок балясины.

Ра х и л ь. Сумер, вус эйст балясина?

С у м е р. (*смеется*). Воры на колбаса говорят балясина.

Ра х и л ь (*смеется*). Сумер, ты ж в тюрьме стал настоящий гонимый.. Настоящий вор...

С у м е р (*смеется*). В тюрьме я тоже был заведующим. А ты помнишь, когда во время войны меня мобилизовали на трудовой фронт и послали в Киров на лесоразработки? Так меня там тоже сделали заведующим.

З л о т а. Сумер, что ты стоишь в дверях, сядь к столу.

С у м е р (*садится к столу прямо в пальто и шапке, рассказывает очень громким, веселым голосом*). Слышишь... Так среди мобилизованных был на моем участке один еврей... Мне его стало жалко, думаю, пусть сидит в тепле и топится печки в бараках и конторе. Так этот еврей начал лениться, начал мне грубить и вообще так себя вести, будто я ему что-то должен. Ды гоем приходят с работы, бараки не топлены, в конторе не топлено, грязно... Я ему говорю: чего я тебя

взял? Что ты мне Грыцько за кум, а Мыкита за сват... Я вместо тебя возьму гою, так он мне будет благодарен, и я буду уверен, что он меня не подведет. Будет чисто, вытоплено всегда. Я с этим евреем год мучался, пока меня на другой участок не перевели.

Ра х и л ь. Есть евреи, что они должны харкать кровью. В прошлом году, когда ты, ой вэй з мир, сидел в тюрьму, так на День Победы мы с Злотой немного вышли на бульвар... Ты же знаешь, в День Победы я всегда плачу, ибо муж мой лежит в земле.

С у м е р. Ну дым шпыц... Конец...

Ра х и л ь. Ничего... Мы выходим, а Злота еле идет... Ты же знаешь, как Злота ходит и какая она хорошая, ты тоже знаешь.

З л о т а. Вечно она на меня наговаривает. Я такая больная. С тех пор я еще ни разу не была на улице. (*Плачет*).

Ра х и л ь. Вот она уже плачет. Ничего... Было гуляние... Йойны Макзаника сын вышел читать стихи, так его объявили инженер Макзаник... Какой он инженер, если он кончил Бердичевский техникум.

С у м е р. Дым шпыц... Конец... Конец рассказывай...

Ра х и л ь. Так приехал Бронфенмахер из Москвы с новой женой.

С у м е р. Красивая жена?

Ра х и л ь. Как моя жизнь красивая. Ты любишь, когда старуха надевает туфли на тонкий каблук?

З л о т а. Она очень красивая дама... Я не люблю, когда говорят.

Ра х и л ь. Сумер, ты меня слушай... И с ней приехал ее брат, который очень большой из себя... Московский еврей... Так он над Бердичевым смеялся... Я ему говорю, что вы смеетесь... Да, ты же знаешь, что я могу сказать.

С у м е р. О, попасть в твой рот...

Ра х и л ь. Ничего, беспокойся про свой рот...

С у м е р. Так ты расскажешь конец?

Ра х и л ь. Подожди, а что я делаю, к чему я веду? Была вышла с Йойной, который носил такую шляпу, что она меня

держит в Бердичеве... И Миля тоже одел шляпу... Ты понимаешь, Миля одел шляпу... И они все идут... А в это время подходит к братской могиле Маматюк... Ты знаешь Маматюка?

С у м е р. Отставник, что он работает на сахарном заводе?

Ра х и л ь. Этот, этот... Так Маматюк подходит и говорит Делеву... Знаешь Делева? Герой Советского Союза...

С у м е р. Знаю, дым шпыц...

Ра х и л ь. Подходит Маматюк и говорит: здесь, в братской могиле лежат все нации, погибшие за родину, кроме жидов... Так я ему дала жида... Он стал у меня синий... И этот Герой Советского Союза потом подошел и извинился передо мной.

З л о т а. Его жена была моя заказчица. Но с тех пор она у меня больше не шьет.

Ра х и л ь. Вот ты имеешь... Так по-твоему я должна была молчать... Этот Маматюк мне кричал "сионистка" и какие только ни хочешь плохие слова он мне кричал. А я должна ему молчать... Мой муж убит на фронт, а он будет так говорить (*плачет*). Так все евреи на бульваре говорили, что я скандалистка. Что я не должна была отзывать, когда этот Гитлер, чтоб он уже лежал и гнил вместе со своей женой, этот Гитлер кричал "сионистка..." Этот, что он приехал из Москвы, и Бронфенмахер, который хотел носить через моя кухня помои, и Быля, которая дует от себя... Чтоб я молчала, когда этот подлец сказал, что здесь закопаны все нации, кроме жидов...

Звонок телефона

З л о т а (*берет трубку*). Что? Кто? Кто? Кто?

Ра х и л ь (*подбегает, вырывает трубку*). Да, девушка, я заказывала Житомир... Хорошо, я подожду. (*К Сумеру*). Слышишь, Сумер, как курица кудахчет, когда за ней бежит петух, так Злота говорит по телефону.

З л о т а. Боже мой, Боже мой, все время она меня перекрикивает... Я имею от нее отрезанные годы...

Ра х и л ь. Ша, Злота, я ведь ничего не слышу... Да, девушка, я жду.. По талону... Куплен на Бердичевской городской почт... (*К Сумеру*). Я звоню каждый день, если я Люсе не позволю, я не могу. Ой, эти Алла и Лада — я без них не могу.

З л о т а (*смеется*). А сюда они редко звонят.

Ра х и л ь. Ну что делать. Петя очень бережливый. А мне не жалко. Полпенсии у меня уходит на телефон... Да, девушка... Я слушаю... Это Алла? Люся... У вас один голос... Здравствуй... Как вы живете? Ну, вчера я звонила вчера, а сегодня — это сегодня. Я здесь вам купила мешок картошки, я приеду, так я привезу. Как Лада рука? А Алла? Ой, Боже мой, у Аллы еще есть чирий.. У моих детей никогда не было чирий... Ладочка... Где Ладочка, чтоб мне было за ее кости... Я приеду, я привезу ей Киевский торт... А кефир вы покупаете? Не надо его искать, надо идти и купить. Я имею еврейскую привычку не искать. Вэй з мир... Масло ты кушаешь, колбаса? Рузи нету... Миля на речке, купается в ледяной воде (*смеется*). А с Гариком несчастье. Он только хочет жениться на Тинке. Ой, я не живу... Здесь Сумер... Привет тебе. И от Злоты... Я завтра опять позволю... Зай гезынт... Будь здорова... (*Кладет трубку, радостно улыбается*). Ты слышишь, Сумер? Лада сидит и плачет. Алле на именины я купила большой торт, а ей я купила маленький торт... Ой, чтоб мне было за каждую ее косточку... Ой, это сладкая девочка...

С у м е р. Ничего, пусть она только станет чуть постарше, так ты начнешь с ней ругаться (*смеется*).

Ра х и л ь. Ой, я до этого не доживу (*вздыхает*). Но когда я там жила, мой зять сказал мне, что я у них съела много картошки... Это Миля номер два... Я нянчила ребенка, я варила обед, я ходила на базар... Но ничего, надо молчать... Для своих детей я должна быть хорошая, а для всех остальных я не хочу быть хорошая... Пусть про меня говорят, что угодно, мне кисло в заднице... Это Злота хочет для всех быть хорошая...

З л о т а (*смеется*). Вот так она ко мне цепляется.

С у м е р (*смеется*). Я тоже хотел быть хорошим... Когда

я служил при Николае, так унтер выстроил нас, вызвал одного жлоба из строя, а потом он вызвал меня и говорит: Луцкий, дай ему в морду... Я не хотел... Тогда он говорит жлобу: ты дай ему в морду... И что ты думаешь, он дал мне в морду (*смеется*). Но так дал, что я на всю жизнь запомнил.

З л о т а. Ой, что я не помню, как ты рассказывал... Когда началась война, это еще до революции, так ты качался по земле, качался и так по земле ты домой прикачался с фронт (*смеется*).

Хлопает дверь.

Рахиль. Это Рузя, у нее ключ.

Р у з я (*входит сердитая, испуганная, встревоженная*).
Гарик дома?

Рахиль. Его твой муж забрал с собой на речка...

Р у з я. Я ему дам водить Гарика на речку. Гарика надо раздеть, разуть и посадить дома. Ты знаешь, Тинка приехала из Винницы.

З л о т а. Ой, я не могу жить...

С у м е р (*достает из кошелки сверток*). Рузя, смотри, какое я мясо купил. Правда, хорошее? Я стоял в очереди, но я был первый.

Р у з я. Ай, Сумер, отстань со своим мясом. Я сейчас зайду к Луше, так я ей устрою черный день...

Рахиль. Боже паси, при чем тут Луша? Луша сама плачет (*стук в дверь*).

Рахиль (*заходит на кухню*). Вот она сама идет. (*Возвращается с Лушей*).

Р у з я (*кричит*). Луша, я вас предупреждаю.

Луша. Что вы кричите?

Р у з я (*кричит*). Я не кричу, я предупреждаю. Если я увижу вашу Тинку с Гариком, я ей голову поломаю.

Луша (*кричит*). Я тебе поломаю, что своих не узнаешь... На кой хрен мне нужен в доме твой еврейский сопляк...

Рахиль. Ша, Луша, ты так не говори... Что значит еврей-

ский сопляк... Ну-ка, выйди но отсюда. Уйди, чтоб тебе не видать... Гарика мы разденем и разуем, и он будет дома сидеть... Он не женится на твоей Тинке.

Луша. Рахиль Абрамовна, дай вам Бог здоровья, если вы так сделаете (*плачет*). Эта Тина у меня все силы отняла (*Уходит*).

Сумер. Что это за Луша?

Рахиль. Луша — это одна из нашего двора, что она спала с немцами... Тинка ведь от немца... Валя, которая едет к нам из Семеновки мыть полы, говорит, что эта Луша при немцах голая танцевала на столе...

Сумер. А что это за Тинка?

З л о т а. Тинка хорошая девочка... Она окончила Бердичевский медтехникум, а теперь она учится в Виннице в мединституте на доктора.

Рахиль. Что ты скажешь, Сумер... Мою Люсю в Винницкий мединститут не приняли, а Тинка, которая родилась от немца и что мать у нее безграмотная уборщица, так та учится... Гой всегда имеет счастье... Тинку взяли, а Люсю нет... Что это за власть... Это таки гонейвише мелихе... Воровская власть.

Сумер (*смеется*). Разве член партии так может говорить...

Рахиль. А что я тебя боюсь?.. Ты кому-нибудь расскажешь...

Рузя. Давно ушел Миля с Гариком?

Рахиль. Не очень... Ты иди за ним, а я тоже пойду в одно место...

Сумер и Рахиль уходят. Злата наливает себе чай, садится перед телевизором, берет нож и рубит кусочек сахара, приложив нож к сахару и стуча ножом вместе с сахаром об стол. Входит Миля и какой-то парень спортивного вида. Миля выключает перед Злотой телевизор. Злата молча встает, берет стакан чаю и уходит в свою комнату.

Миля (*парню*). Андрей, посиди.

А н д р е й. Нет, Миля, мне пора. Дай мне фотографии и я пойду.

М и л я . Вот они, твои фотографии. *(Достаёт пакет)*. Вот ты в проруби, вот вылезает на лёд, вот массовый заплыв моржей... Видишь — это я, это ты, это Дзивановский... С тебя пятерка... *(Включает телевизор)*. Посиди...

А н д р е й . Ну, ладно... Толковая передача?

М и л я *(смотрит телевизор)*. Балет *(пауза)*, танцуют *(пауза)*, ушли *(пауза)*, занавес *(пауза)*, дикторша... Светочка, здравствуй... Хорошая баба...

А н д р е й . Баба ничего, а балет я не люблю... Если б хоккей показывали... Ну, я пойду, будь здоров.

М и л я . А я хоккей не люблю, я футбол люблю... В хоккее мяч маленький, следить трудно, куда он летит... Хоккей у нас вчера на льду был, медсантруд и кожзавод.

А н д р е й . Какой счёт?

М и л я . Два — ноль в пользу бедных *(смеётся)*.

Андрей уходит. Миля молча смотрит телевизор. Злата осторожно выходит из своей комнаты, наливает ещё один стакан жидкого чая и осторожно уходит. Шумно и быстро входит Рузя.

Р у з я . Гарик дома?

М и л я . Нет...

Р у з я . Он же пошел с тобой?

М и л я . Так пока я переодевался для купанья, он куда-то делся.

Р у з я *(кричит)*. Чтоб ты провалился со своим купаньем! Зачем ты взял с собой ребенка?

М и л я . Рузя, не кричи... Рузя, Рузя... Пока я переодевался, он был с Колей Рабиновичем.

Р у з я *(кричит)*. С Колькой Рабиновичем?! Чтоб он сдох, этот Колька... Ты разве не знаешь, что у этого Кольки Рабиновича Гарик встречается с Тинкой?

М и л я . Рузя, не кричи...

Р у з я *(кричит)*. Чтоб ты пропал, а не Гарик... Гарика нельзя было выпускать на улицу, зачем ты взял его с собой... Сволочь! Негодяй!

М и л я . Рузя, замолчи...

Р у з я . Сам замолчи... хватит... Двадцать три года я живу

по выражению твоего лица... Сволочь! Одевайся и иди искать Гарика!

Быстро входит Рахиль.

Р а х и л ь . Я только что была у Раи из ЗАГСа. Гарик подал заявление, чтоб его расписали с Тинкой.

З л о т а . Ой, я не могу выдержать...

Р у з я *(Миле)*. Одевайся и идем искать Гарика... Я его закрою дома голого...

З л о т а *(смотрит в окно)*. Ой, вот он сам идет.

Входит Гарик бледный, возбужденный.

М и л я *(Рахили)*. Вы не вмешивайтесь *(к Гарику)*, разденысь, сынок, сядь, я с тобой поговорю.

Г а р и к . Говорить нечего. Мы с Тинкой подали заявление в ЗАГС... Я люблю ее, она любит меня...

Р а х и л ь . Но ведь она старше тебя на пять лет... Папа ее был немец, что он убивал евреев, а мама ее уборщица, что она здесь во дворе мало разве кричала: жида!

Г а р и к . Баба, закрой пасть.

Р а х и л ь . Закрой пасть... Сморкач... Подожди, Тинка еще тебе крикнет — жид... И Луша тебе крикнет — жид...

Г а р и к . Я женюсь на Тине, а не на тете Луше.

Р а х и л ь . Тетя Луша... Злата у него не тетя Злата, ей он кричит "заткнись", а Луша, что она ненавидит евреев, у него тетя... Луша, что она при немцах танцевала голая на столе.

М и л я *(Рахили)*. Зачем такое говорить при молодом парне... Вы это видели?

Р у з я *(Миле)*. Ты еще будешь Лушу защищать! Отдай Гарика в ее руки, отдай. Гарик, я тебя голого раздену *(хватает его, тот пытается вырваться, борьба. От толчка падает с книжного шкафа и разбивается бюст Ленина)*.

Р а х и л ь . Осторожно, сейчас вы разобьете зеркало... Взяли и разбили... Этот Ленин у меня с 45-го года стоял и был целый.

Рузя. Молчи, мама... Людоед... Я тебе заплачу за бюст Ленина... Гарик, стой, Гарик... Миля, что ты сидишь...

Миля. Сядь, сынок, поговорим...

Гарик (*плачет, кричит, хватается хлебный нож, приставляет его к запястью*). Я себе удеры перережу... Вены вспо-рю...

Рахиль (*кричит*). Заберите у него нож... Ой, ой, ой...

Миля и Рузя хватают Гарика, забирают у него нож, стаскивают с него пальто, раздевают один ботинок. Он вырывается, брыкает ногой, не дает Миле снять второй ботинок, попадает ему пониже живота ногой.

Миля (*хватается за пораженное место руками*). Ой... Темно в глазах...

Рузя (*кричит*). Что ты скорчился! Держи Гарика!

Миля. Не могу... В глазах темно... Он мне попал ногой...

Гарик отбрасывает Рузю, бежит к дверям в одном ботинке, но Рахиль успевает подбежать, тяжело, по-астматически дыша, и загородить дорогу. Гарик толкает ее в грудь. Она пошатнулась, но устояла. Тогда он хватается за халат у горла, но в это время Рузя и оправившийся Миля вцепились в него. Слышен треск материи.

Рахиль (*кричит*). Ой, он порвал на мне халат! Ой, он порвал на мне халат! Ой, он порвал на мне халат! Ой, он порвал на мне халат!

Под крики, плач, звон разбивающейся посуды, ползет занавес.

Картина 8-я

В большой комнате стало гораздо свободнее, исчезла Рузина полированная мебель. Вместо старого телевизора стоит телевизор другой конструкции. Майский теплый вечер. Дверь балкона приоткрыта. За столом сидит Рахиль, совсем уж сильно растолстевшая, обрюзгшая, но по-прежнему с живым острым взглядом. Рядом сидит полный бородатый человек, в котором с трудом можно узнать Вилю. Злота у зеркала примеряет платье Быле. Злота с жидкими седыми волосами, с выцветшими, слезящимися глазами. Тонкие косички торчат у нее, как козлиные рожки.

Злота (*поет слабым голосом*). Тира-ра-рой, птичечка, пой... Здесь будет встречная складка...

Рахиль. Слышишь, Быля, так я пошла и дала за ковер задаток три рубля... Мне дадут в рассрочку, чтоб повесить над Злотиной кроватью вместо ее тряпки... Что ты скажешь, Виля, я правильно сделала?

Злота. Я тебе свою стену не дам. Ты потом отдашь ковер детям, а я останусь с голой стеной. У меня тряпка как тряпка...

Рахиль. Ой, она кричит... Виля, у вас в Москве тоже так кричат?

Виля. Ты имеешь от нее отрезанные годы (*смеется*).

Злота. Она потом отдаст ковер Рузе, а я останусь с голой стеной.

Быля. Ну, как Рузя, довольна квартирой, Рузя?

Рахиль. Ничего. Они получили там, где был раньше роддом. Однокомнатная, зато есть удобства — уборная, отлив... У меня уже нет сил таскать с лестницы ведро, особенно зимой.

Быля. Так Рузя довольна, Рузя?

Рахиль. Им хватает... Ей и Миле... Ребята уже женились... Марик в Ленинграде, а Гарик в Минске... Ничего...

Быля (*вытирает глаза*). Я слышала, что Сумер умер на улице, я слышала... Так говорят...

Рахиль. Чтоб у того выкрутило рот, кто так говорит... Что он, нищий, чтоб умереть на улице...

Быля. При чем тут нищий, при чем тут... Слушай но... При чем тут нищий... Каждый может умереть где угодно... Даже царь может умереть на улице, даже царь...

Злота (*плачет*). Он стоит мне перед глазами... Он был такой хороший брат... Он недостает мне в каждом уголке... Уже пять месяцев скоро, как он умер...

Рахиль. Чтоб у того выкрутило рот, кто говорит про нашего Сумера, что он умер на улице... Он умер не на улице, а в этом новом универмаге, что построили возле церкви (*плачет*). Слышишь, Виля, 26-го январь, ой, я хорошо запомню это число, он пошел покупать ведро в универмаге. Я его

встретила на улице и говорю: Сумер, зайди к нам... Он говорит, я сейчас пойду, куплю ведро в универмаге и на обратном пути зайду к вам... Так он только поднялся на лестницы, чтоб войти в универмаг, сразу упал... Тогда какие-то люди его занесли внутрь, потому что на улице мороз... А эти гойки, продавщицы, сейчас же продавщицы все гойки из села у нас, евреев сейчас ы в торговой сети нету, так гойки начали кричать: вынесите этого пьяницу... Но в универмаге была Векслер, что она когда-то работала со мной в Торгсин... Ты знаешь, Виля, что такое Торгсин? Это где дефицитный товар продавали не на деньги, а на золото и драгоценные камни... Так эта Векслер говорит: нет, это не пьяница... Это Луцкий...

З л о т а *(плачет)*. Он стоит у меня перед глазами... Он пережил Зину почти на год... Зина умерла от сахарной болезни...

Рахиль. В общем, как рассказывают, Сумер пришел в себя, сел, вынул конфетку, положил в рот, вынул платок, вытер губы... Ему говорят — позвать сестру? Это про меня... Меня ж в городе все знают... Позвать сестру, Рахилу Абрамовну *(плачет)*. Он говорит: не надо... Это были его последние слова... Потом я пришла в больницу, так он лежал и спал. Но одно ухо у него было синее. Я его поцеловала... И еще один там лежал и спал. Так тот проснулся, а Сумер нет... Три дня ему не хватало до восьмидесяти лет... Мы ему устроили похороны... Но в больнице хотели, чтоб он еще лежал... Некому было копать яму... В тот день было шесть покойников... Тогда товарищ Сумера дал из свой карман двадцать рублей, и яму выкопали... Виля, ты помнишь Сумера?

Виля. Как же... Бердичевский Вольтер...

Рахиль. Что значит Вольтер? Что значит, ты говоришь на Сумера — Вольтер... Я не понимаю.

Б ы л я. Это такой писатель.

Рахиль. Он не был писатель, но он был очень умный.

Входит шумно Валя с половыми дорожками в руках. Одета она в обноски, повязана рваным платком, но веселая, с маленьким носиком и круглым лицом.

Валя. Луша каже: ты чего дорожки трепаешь... Пыль на нем идэ... От зараза, вредная... Кажэ: она менэ вдарить... *(Смеется)*.

Рахиль. Пусть попробует... Луша думает, что это ей при немцах, когда она голая танцевала на столе... Ты знаешь, Быля, что это за Луша? Гарик ведь хотел жениться на ее дочке Тинке... Ой, тут было несчастье... Эта же Тина от немца... Правда, Валя?

Валя. От немца... Луша кацапка с нимцями гуляла из комендатуры... *(Смеется)*.

Рахиль. Валя, что-то ты сегодня много говоришь... Вынеси-ка ведро. *(Валя уходит)*. Зи даф эсен дрек... Она должна кушать, извините за выражение, то, что в уборной... Такая грязная... И она живет, а Сумер умер. *(Плачет)*.

Б ы л я. Вечного ничего нет, правда, Виля? Виля очень хорошо выглядит.

Рахиль. Ну что ты хочешь, научный работник.

В и л я. Я не научный работник.

Рахиль. Ну все равно, большой человек... Ой, сколько мы пережили, сколько Злота плакала... Теперь уже слава Богу... Быля, ты видела, какое у него красивое пальто?

Б ы л я. Я видела, московское... Моя Мэра тоже должна скоро поехать в Москву... У нее там знакомые, у нее там... Овечкис. Ты не слышал, Виля, Овечкис? У него труды опубликованы. Этот Овечкис тоже сейчас приехал, он у нас гостит... Ты не слышал Овечкис?

Виля. Я не слышал.

Рахиль. Откуда он знает? Что, Москва, это Бердичев?

Б ы л я. Злотка, так когда на примерку, Злотка?

З л о т а. Через три дня.

Б ы л я *(переодевается в соседней комнате, выходит)*. Когда ты едешь, Виля?

З л о т а. Он же только приехал.

Б ы л я. Ну, слава Богу... До свидания. *(Уходит)*.

Рахиль. Злота, быстрее переверни стакан... Зи кен гибен а гытойг... она может сглазить (*дает дули в дверь*). На, на... Соль в глаза, камни в живот.

З л о т а. Зачем ты так говоришь... Это наша родственница...

Р а х и л ь. Родственница. Троюродная пуговица от штанов... Виля, ты меня слушай, если я говорю, так это сказано. Ты ее Мэру видел? Петух. Одно горло и больше ничего ни спереди, ни сзади... Когда Мэра ездила в Крым, так у нее ушло триста рублей. Но нельзя говорить. Она ходила кушать только туда, где музыка играет... Еще хорошо, что она из Крыма не привезла сифилис...

З л о т а. Боже мой, что она говорит... Мэра очень честная девочка...

Р а х и л ь *(смеется)*. Девочка... Олте мойд... Старая дева, а не девочка... А Быля скрывает, что ее отец был простой бондарь... Она хотела мужа для Мэры доктора... Но ее Мэра поехала в Крым и, говорят, она там жила с одним узбеком... Еще хорошо, что она не привезла сифилис, как дочка Иванова.

З л о т а. Где есть сплетня, так она приносит.

Р а х и л ь. Злота, чтоб Бог помог прекратить твои крики... Ты меня слушай, Виля... Ты Иванова знал?

З л о т а. Откуда он знает Иванова?

Р а х и л ь. Его фамилия Иванов, но он еврей... Закупщик скота... Богатый... Кооперативная квартира... А у его дочки уже ребенку десять лет. Так она поехала на курорт, познакомилась с киевлянином и привезла сифилис *(смеется)*. Ничего... Мужа у нее нет, с мужем она разошлась... Но в квартире надо делать ремонт, так пришли маляры. Так она легла с одним маляром и заразила его. А он разнес сифилис по городу *(смеется)*. Такая сволочь... А этот Иванов был при немцах...

З л о т а. Рухл, что ты рассказываешь всякая ерунда, дай ему покушать *(ставит на стол яички и котлеты)*.

Р а х и л ь. Злота, что за маленькие котлетки ты сделала? Большие люди едят эти котлеты, а ты сделала как для маленьких детей...

З л о т а. Ну, я не могу... Только она хочет быть надо мной хозяином, только она хочет взять меня себе под ноги... Виля, не бери масло из этой масленки, это Рахилино... Вот наше *(подвигает точно такую же масленку)*.

Р а х и л ь. Виля, если я от нее выдерживаю, так я железная... Ну так что, если он возьмет немного моего масла? Что, я обеднею?

З л о т а. Зачем, когда у него есть свое...

В и л я. А как же вы различаете? Ведь масленки совершенно одинаковые, обе из синей пластмассы?

З л о т а. У моей здесь прикреплен бумажный кружочек от катушки.

Р а х и л ь. Виля, посмотри на нее с этими косичечками *(смеется)*. Зи кен аф мынен... Она может пригодиться для мынен... Ты знаешь, что такое мынен? Это в синагоге нужно десять человек, чтоб состоялась молитва. Если девять, это не годится... Тогда искали десятого, кого угодно, даже идиота *(хохочет)*.

З л о т а. Если б не мое горе, я б твоего лица не видела... Я бы уехала в Москву... Что, у меня там не было бы заказчиц? *(Плачет)*.

Р а х и л ь. Ша, Злота, дай Виле спокойно покушать... Большой деатель... Она уже пять лет не выходит на улицу, так она поедет в Москву.

З л о т а. Она мне не дает слова сказать, она меня все время перебивает... Я раньше так хорошо ходила, у меня были такие крепкие ноги...

Р а х и л ь. Ты всегда имела плоскостопие, сколько я тебя помню... Виля, ты меня слушай... До революции мы жили как бедняки. Кто был наш отец? Простой шорник... Так если покойная мама сварила суп из картошки, у нас был веселый день. Боже паси, чтоб дети ели когда-нибудь яйца. Но Злоте запаривали яйца.

З л о т а. Мне давали яйца потому, что я самая первая из детей начала работать... Раньше Сумера... Мне еще было восемь лет, когда я пошла работать ученицей к портному. *(К Виле)*. Раньше портних не было, только портные... Раньше лучше одевались, а сейчас барахло... Мне лежит в памяти, когда после революции покойный Сумер держал магазин от вещи *(садится, наливает себе чай, берет яблоко, кусает)*. Я люблю чай пить с яблок... Так про что я говорила?

Рахиль. Злота, когда пьют чай, так молчат, а то можно, не дай Бог, подавиться... Ты помнишь, как ты подавилась костью от рыбы? Ой, Виля, я железная... Если б Дуня снизу не прибежала и не начала Злоту бить по спине, так кость бы не выскочила... Ты бы видел кость... Как человек может проглотить такую кость... Эта кость, когда выскочила, так ударила о миску, что звон пошел.

Злота. Ну, она не дает мне слова сказать... Я помню, как в Варшаве была еврейская религия.

Рахиль. Она помнит... Ты что, была в Варшаве? Злота, что-то с годами ты стала лыгнерын... обманщица...

Злота. Но она меня только хочет плохо поставить перед людьми... Я не была, но я помню, как дедушка рассказывал... Я помню нашего дедушку, он был такой красивый, у него на всех пальцах были кольца... Сколько было пальцев, столько было колец... Он имел теркешер пос... Турецкий паспорт... Так как только начиналась война, так приходили эти красные колпаки и его арестовывали... Я помню, как мы все дети сидели и обедали и пришли красные колпаки и его арестовали... Ой, мы так плакали...

Рахиль. Вот она тебе скажет... Красные колпаки, это же гайдамаки, они в гражданскую войну были... А до революции был пристав. Это пристав пришел, чтоб арестовать дедушку, что, я не помню...

Злота. Я лучше тебя помню... Дедушка был приказчик. Он ехал в Варшаву за товаром. Раньше евреев не пустили в Киев и Москву, а только в Варшаву. Мне лежит в памяти. О, какие платья тогда были. Теперь не платья, а барахло. Они ездили в Варшаву покупать... В Киеве жили только первогильдники, капиталисты и ремесленники... Тогда портних не было, только портные...

Рахиль. Злота, что ты повторяешь одно и то же...

Злота. Ну, она не дает мне слова сказать... В Варшаве евреи ходили с бородами, шапки с козырьком, женщины носили парик...

Рахиль. Злота, что за вареники ты сделала? Котлеты ты делаешь маленькие, а каждый вареник как Эгдешман...

Тут был такой большой грузчик Эгдешман, так каждый вареник как Эгдешман.

Входит Валя с дорожками.

Валя (*смеется*). От зараза... Луша знову каже, что мене вдарить, бо я дорожки трепаю и роблю пыляку... Зараза ии мамци... Кацапка погана... Ии позавчора з церкви пип выгнав...

Рахиль. Ты слышишь, Злота, что такое Луша... Валя говорит, что Луша обделалась перед попом и он велел ее выгнать из церкви.

Злота. Зачем такое говорить на человека?

Рахиль. Ну, иди, Валя, здоровая... Так ты придешь в пятницу? Иди...

Валя уходит.

Злота (*зовет*). Валя... Валя... Ой, если я сяду, я уже не могу подняться (*хватается руками за стол, поднимается, берет с подоконника газетный сверток*). Я забыла ей дать... Эти кости я собираю Вале для собаки.

Рахиль. Дай но сюда... Выброси их... Валя должна знать, что ты кушаешь курицу?

Валя (*заглядывает*). Вы мене кыкалы?

Рахиль. Нет, ничего, иди, Валя. (*Валя уходит.*) Она потом пойдет вниз и все расскажет о нас гоем, как мы живем, что мы кушаем курицу. Но у меня они могут знать, только что в заднице темно...

Виля. А где Дрыбчик?

Злота. Дрыбчик? Ой, он помнит Дрыбчика... Дрыбчик еще два года назад утонул.

Рахиль. Он поспорил на поллитра, что перепплывет Гнилопять... Так туда он перепплыл, а назад — нет... А тут был во дворе еще один бандит, Витька Лаундя, ты помнишь, ты помнишь? Так ему отрезали обе ноги, у него гангрена... А ты помнишь муж Дуня, что они были на Рузиной свадьбе?

З л о т а . Фамилия его Евгеньевич, нет, Евгений... Чтоб я так знала про него...

Рахиль . Вот она тебе скажет... Евгеньев его фамилия... Так пять лет назад он застал у Дуни одного пенсионера, что он за этой старухой ухаживал, и так крикнул от ревности, что у него оборвалось сердце *(смеется)*.

З л о т а . Зачем тебе надо смеяться? Человек умер...

Рахиль . Чтоб он раньше на тридцать лет ушел головой в землю... Это он нам порекомендовал Милю... А когда я спросила Рузю — Рузя, он тебе нравится? Она ответила: ничего паренек...

З л о т а . Рухл, перестань. Миля совершенно переменялся. Он теперь совершенно другой, после того, как с ним случилось несчастье.

Виля . Какое несчастье?

Рахиль . Ой, ты еще не знаешь... Ему же отрезали палец...

З л о т а . Боже мой, что тут было... Он ходил купаться зимой на речку, и на него упал лед... Думали, что отрежут всю руку, но отрезали только палец... Еще слава Богу...

Рахиль . Так одним пальцем он уже на том свете *(смеется)*.

З л о т а . Рухл, перестань, он еще молодой... Ему недавно отметили шестидесятилетие, в прошлом месяце. Так вечеринка была здесь у нас, потому что у них негде. Он пришел и говорил со мной и говорил с Рахилей... Шестьдесят лет... Он еще молодой...

Рахиль . Молодой... Собака в его возрасте уже давно сдыхает...

З л о т а . Ой, Боже мой *(смеется)*.

Рахиль . Когда они здесь жили и Злота хотела смотреть телевизор, так Миля его выключал, когда она выходила, так он опять включал.

З л о т а *(смеется)*. Ну, он такой человек... Плохого человека надо поднять...

Рахиль . Это ты им делай почет... Ты хорошая, а я не хочу быть хорошей... Быля, вот Злота сейчас будет кричать,

но Быля теперь говорит, что ты хорошо выглядишь, и у тебя хорошее пальто. А раньше она смеялась над тобой.

З л о т а . Это неправда. Она всегда спрашивала, как Виля.

Рахиль . Ты меня слушай... Йойна тебя назвал "вечный студент"... Я ему говорю, что значит "вечный студент"... Как вы так говорите, Йойна. Вот вы сейчас смеетесь, а еще будет время и люди лопнут от зависти, когда посмотрят на нашего Вилю... Я и Злота всем так говорили... Мы наши дети не бросаем... Если надо посылка, так посылка. Сегодня мы Виле дадим, завтра он нам даст... Правильно, Злота... А Йойна за то, что он так говорил, теперь вырезали из носа кусок мяса.

З л о т а . Зачем ты радуешься, это же несчастье...

Рахиль . Ничего. То, что я сказала Виле, так Виля никому не расскажет. Говорят, что у Йойны рак, но Быля это скрывает. Слышишь, Виля, каждый год Быля с ним едет в Киев и у него из носа вырезают кусок мяса... Это стоит еще тех денег... Ай, я не хочу о них думать, у меня есть про что думать. Виля, посмотри лучше на Алла и Лада, чтоб мне было за них. *(Достает с буфета альбом)*.

Виля . Современный Бердичев в третьем колене.

Рахиль . Чтоб мне было за их коленки... Ой, надо же позвонить Рае в ЗАГС... Алла не хочет быть Пейсаховна... Она хочет быть Петровна... И Лада тоже от нее учится... Когда Петя родился, так его родители записали не Петя, а Пейсах... А я им говорю: о чем вы раньше думали, идиоты?

Виля . Да, проблема сложная, но временная. Это последние Пейсаховичи и Исааковичи... В жизнь вступило поколение Анатолиевичей, Эдуардовичей, Алексеевичей, Александровичей...

Рахиль . А ему дали имя Пейсах... Так я зашла к Рае в ЗАГС... Ой, Рая, ей ниоткуда прожить день... Сколько у нее зарплата? Она собирает бутылки, что их оставляют пьяницы, и сдает... Так Рая мне говорит, когда Алле исполнится пятнадцать лет, надо написать заявление и пятнадцать рублей... Но я думаю, что за пятнадцать рублей я им обеим Пейсаховна поменяю на Петровна. Что ты скажешь, Виля?

В и л я. Нет, за пятнадцать рублей только Алла будет Петровна.

Рахиль. Ну, что ж, мэйле... возьму в кассе взаимопомощи тридцать рублей... Ради своих детей надо делать все... Кто-то звонит... Злата, забери но свое трико... Всегда она посадит свое трико на палку, что я открываю задвижку в печке, и выставит это свое трико на видное место сушить...

З л о т а. Она рвет от меня куски (*снимает трико с палки и уносит его*).

Входит Борис Макзаник.

Макзаник. Ну, где тут ваши гости?

Рахиль. Какие кости?

Макзаник. Где здесь знаменитый человек? Ах, вот он, бородатый... Ну, здоров...

В и л я. Борис Макзаник нас заметил и, в гроб сходя, благословил.

Макзаник (*хохочет, выпучив глаза*). Ну, как Москва?

З л о т а. Садитесь, выпейте с нами чаю... Я теперь вам не могу говорить "ты".

Макзаник. Да, мы повзрослели (*хохочет*). И побородели (*хлопает Вилю по плечу*).

Рахиль. Как папа, как мама?

Макзаник. Ничего, болеют... Старшее поколение...

З л о т а. Я помню, как ваш папа, еще до войны, читал лекции о международном положении на еврейском языке.

Макзаник. Отец у меня хороший, батя... Конечно, возраст, но продолжает, несмотря на пенсию, работать в области журналистики. Внештатный корреспондент "Радяньской Житомирщины". Вы читали недавно его большую статью "Жертвы сионизма", про евреев, которые уехали из Житомира в Израиль и теперь хотят вернуться назад?

Рахиль. Я только местную газету выписываю "Радяньский шлях".

З л о т а. А как ваш сын? Извините, я вас спрашиваю...

Макзаник. Сын... Вот мой сын (*достает фото*). Уже семь лет мальчику. (*Виле, тихо*). Может, прогуляемся, а то тут тетушки.

В и л я. Нет, гулять не хочется.

Макзаник. Э-э, да ты, я вижу, скис. А вот смотри фото: мы с тобой, какие молодые ребята, и вот твоя надпись: другу по надеждам и мечтам... Молодость...

В и л я. Мао Цзе-дун прав. В молодости человек — это чистый лист бумаги...

Макзаник, Странные у вас в столице мысли... Пришел бы на завод, пообщался бы с рабочим классом, тогда и дети появятся (*хохочет*). Это ведь очень просто... Не получается, передохни, погуляй немного по комнате, скушай ложку меда... Ну, а если всерьез, я стихи своему сыну Саше недавно написал. Хочешь послушать?

В и л я. Прочти.

Макзаник. Стихи обычно приходят вечером после трудного дня... Вот, послушай: "Сыну Саше. Эпоха целая прошла с тех пор, как мама на горшок тебя сажала, а ты кричал уа-уа и ничего не понимал. Теперь ты взрослый человек, не делаешь сырых пеленок, но я хочу, чтоб целый век был жив в тебе, мой сын, — ребенок" (*последнюю фразу произносит дрогнувшим голосом*).

В и л я. Ничего (*начинает кашлять*).

Макзаник. А вот совсем другая тематика, скоро будет напечатано... "Страна советская большая, нет в ней бесчисленных врагов, живет прекрасно расцветая среди полей, лесов, лугов. А если враг захочет снова Россию пеплом всю обжечь, не надо им влезать в Россию, им надо голову беречь" (*хохочет*) Это я по проблемам мирного существования.

В и л я. В общем неплохо (*начинает кашлять*). Что-то я простудился.

Макзаник (*смотрит на Вилю искоса*). Тогда чтоб рабочему вылечить тебя от интеллигентской простуды, я тебе прочитаю кое-что другое... Вот афоризмы, которые, может быть, пойдут тебе на пользу... "Душа — это алмаз, а ум — это инструмент, который обрабатывает алмаз"... "Подавляя свою душу или не связывая ее с умом, с действительностью человек углубляется в мир иллюзий и мистики, следствием чего является презрение к людям".

В и л я . Ничего *(кашляет)*. А это ты один писал или в соавторстве, как Козьма Прутков?

М а к з а н и к . О человеке можно судить не по тому, что он говорит, а какие вопросы он *задает (вскакивает)*. Ты был дурак и остался дурак, хоть что-то там вытворяешь в Москве.

Р а х и л ь . Ой взъ з мир... Что? Кому ты говоришь дурак? Сморчок паршивый. Так, как я держу руку, так я тебе войду в лицо.

М а к з а н и к *(кричит)*. Негодяи, сволочи... У меня нервы, как струны! Ты думаешь, я не видел, как ты надо мной насмеялся... Кашляет, кашляет...

Р а х и л ь . Ты сам сволочь... Твой папа всегда имел любовниц и ты такой же... Уйди, чтоб тебя не видеть... Кто тебя сюда звал? Ты сам звонил каждый день, спрашивал, когда Виля приедет... Что ты нам нужен... Даже, когда я сижу в уборной, я о тебе не думаю...

М а к з а н и к . Когда мне надо будет, я уйду... Пусть ваш Виля не думает, что только он один человек, а все вокруг него клопы... Он был дурак и остался дурак... Вот он показал сейчас себя во всей красе. *(Быстро уходит, хлопает дверью)*.

Р а х и л ь . В голове чтоб ему стучало... Виля, что ты ему не ответил? Он тебе сказал дурак, надо было сказать: от дурака слышу... Что ты так побледнел, Виля, что ты переживаешь? Что, ты не знаешь Макзаника, это же идиот... Его весь Бердичев считает за идиота.

З л о т а . Боже мой, Виля, ты себя что-то плохо чувствуешь? Может, ты ляжешь, и я тебе дам чаю в постель?

Р а х и л ь . Такое горе... Это твоя идея, Злотеле... Я сказала - он здесь не нужен, а ты говоришь, надо пригласить, неудобно...

В и л я *(встает)*. Может, действительно, мне сегодня уехать? Я еще успею на казатинский поезд, а ночью из Казатина идет много поездов на Москву.

З л о т а . Как это ехать? Что-то я тебя не понимаю. Ты же только приехал, ты не был пятнадцать лет *(плачет)*.

В и л я . Но я вас повидал, побыл день... Достаточно...

Р а х и л ь . И за то, что Макзаник сказал тебе "дурак", так ты хочешь уехать? Смотри-ка, Злота плачет. Я тебе сейчас расскажу, так ты поймешь. Тут в Житомире есть один, так его имя Израиль. Так его все зовут "Агрессор". Так он смеется. А ты переживаешь, что Макзаник сказал тебе "дурак"...

В и л я . Он смеется? Тогда другое дело, тогда я просто погуляю по Бердичеву.

З л о т а . Виля, куда ты идешь? Ведь поздно, дождь начинается.

В и л я . У меня есть зонтик. *(Выходит)*.

Р а х и л ь *(кричит вслед)*. Только не ругайся с гоем здесь во дворе... Ты себе уедешь, а нам с ними надо жить... Злота, ты не переживай, не переживай... Этот Виля всегда был раскрученный... Цыдрейтер... Мышигинер... Сумасшедший...

З л о т а *(кричит)*. Ты и дети твои сумасшедшие *(плачет)*.

Р а х и л ь . Злота, чтоб тебе вывернуло рот... Он ушел, так я виновата... Такое горе... Дети мои ей не нравятся... Дети... Макзаник таки прав, хоть он идиот... Что я не знаю, что Виля смеется надо мной, над моей Люсей, над моей Рузей, над Мариком, над Гариком, над Петей, над Аллой, над Ладой, над всеми... Только он умный... Но где он работает, неизвестно, и какая у него зарплата — неизвестно, и кто он такой — неизвестно... Моя Люся таки правильно про него говорит...

З л о т а . Твоя Люся такая же, как твой муж Капцан... Она молчаливая собака, собака с закушенным ртом...

Р а х и л ь . Ты сама собака... Мой муж ей не нравится... Надо было иметь своего мужа...

З л о т а *(кричит, плачет)*. Ты говоришь, что у тебя был муж, а у меня не было... Если б я хотела, я б имела мужа... Но я должна была кормить маму и папу, они были больные *(звонит телефон)*. Ой, что-то мне плохо, что-то мне колет сердце, что-то мне схватил живот...

Р а х и л ь . Ну, иди на ведро... Тихо, это Житомир... Немая чтоб ты стала *(берет трубку)*. Девушка, але... это Житомир? Да, я заказывала... *(К Злоте)*. Иди на ведро... Тихо... *(В трубку)*. Люся.. Здравствуй... Ой, я без детей не могу, я каждый

вечер звоню, ты же видишь... Ой, я только что имела... Виля приехал, так пришел Макзаник и сказал ему "дурак"... Что ты смеешься... Так Виля побелел, как стена, и хочет ехать назад в Москву... Ничего... Слава Богу... Так он хорошо выглядит, у него красивое пальто... Он привез лимоны, так десять он дал мне, а шесть я взяла так, может, я возьму еще несколько... Я приеду, так я привезу вам лимоны... Злоте нельзя, у нее кислотность... Так он хорошо выглядит, но где он работает и какая у него зарплата, когда я буду знать, так я тебе скажу (*смеется*). Он пошел гулять, этот елд... А Злота на ведро... Что у вас? Что слышно... Ты, наверно, ходишь боса... Отвари детям кусочек курицы, я приеду, я привезу еще куры... Лада, чтоб мне было за нее, как она... Но про Вилю ты не рассказывай мансы в Житомире... Дай Ладочку... Здравствуй, моя сладкая девочка... Как баба тебя учила стихи? От а елд а копелеш... Имеет дурак шляпу... Мыт ды ланге пеес... И длинные пейсы... (*Смеется*). Вот он идет этот елд... Целую тебя, чтоб мне было за тебя... Нет, это Рузя и Миля пришли... Я целую... Я завтра позвоню (*Вешает трубку*).

Входят Рузя и Миля. Рузя сильно поседела, потолок стала похожа на Рахиль. Миля, наоборот, похудел. Рука его перевязана.

Рузя. А где Виля?

Злота. Он пошел немного погулять.

Миля. В такой дождь гулять?

Рахиль. Ну так он гуляет в дождь, что можно сделать... Ой, я тебе скажу, Рузя, я железная, что я это все выдерживаю...

Злота. Я не могу жить (*плачет*).

Миля. Не надо ругаться, главное здоровье...

Рахиль. Как твой палец?

Миля. Какой палец? Пальца нету.

Рахиль. Я спрашиваю, как рука.

Миля. Ноет... Вот сегодня дождь, так она ноет особенно и палец, хоть его нету, тоже ноет.

Рахиль. Что пишет Марик? Что пишет Гарик? Чтоб мне было за их кости.

Рузя. Слава Богу, все хорошо... Марик скоро должен получить квартиру, а Гарику я послала посылку.

Рахиль. Злота, куда ты идешь?

Злота. Выйду на балкон, может Виля надойдет.

Рахиль. Сумасшедшая, хочешь простудиться... Ой, я железная, я уже не могу... Виля поругался с Макзаником, так он хочет уехать... Что я виноватая... Я сказала, Макзаника не надо приглашать, а Злота хотела.

Злота. Ты все говоришь, как тебе выгодно.

Миля. Этот Макзаник к юбилею прислал мне стихи... "Лично вас поздравить рад, должен вам признаться, что вам на вид не шестьдесят, а три раза по двадцать"... Так потом я выяснил, что Макзаник посылает эти стихи всем юбилярам, только меняет цифры... Так разве можно на него обижаться...

Рахиль. А что я говорю, на идиота нельзя обижаться... Так ведь Виля, Вилечка... Виля такой горький, как желч... И нельзя сказать, Злота кричит... Он поругался с Макзаником, так он хочет уехать... А Злота плачет.

Миля. Взрослый человек, а ведет себя как мальчишка. Вы помните, как я однажды пришел с товарищем, а он был пьяный и ударил меня в глаз... Мало ли что бывает...

Рахиль. Это было в 56-м году... Я хорошо помню.

Миля. Так я с ним месяц не разговаривал, а он ходил за мной и просил прощения... Вот как надо поступать.

Рахиль. Ой, Боже мой... Чем дальше, тем нам труднее жить вдвоем... Две старухи... Если б уже найти какой-нибудь хороший вариант и поменять вашу комнату и наши две на отдельную двухкомнатную квартиру с удобствами.

Злота. Я скоро умру, так тебе будет легче.

Рахиль. Ша, Злота, вот Виля идет... Злота, нашлась твоя пропажа... Злота, ты сиди, я открою. (*Рахиль уходит и возвращается с Овечкисом, одетым по-столичному, в очках*).

О в е ч к и с. Извините за позднее вторжение, мне нужен Вилли Гербертович.

Рахиль. Кто?

О в е ч к и с. Вилли Гербертович.

З л о т а. Ну, Виля нужен... Он пошел погулять, заходите, пожалуйста, садитесь.

О в е ч к и с. Спасибо. Нас когда-то знакомил Бронфенмахер. Несколько лет назад, когда я сюда приезжал. Но я не знал, что вы родственница Вилли Гербертовича.

Рахиль. Я помню... Вы у Были остановились?

О в е ч к и с. Да, у Были Яковлевны. Приехал в Киев в командировку, дай, думаю, навещу.

З л о т а. Хотите чаю?

О в е ч к и с. Спасибо, я чай почти не пью...

З л о т а. Что вы говорите... А я без чаю не могу...

Р у з я. Ой, я была в Москве, так там все ходят с собаками. Такие красивые собаки... В Бердичеве я не видела таких собак... У вас тоже есть собака?

О в е ч к и с. Есть.

Миля. Я люблю немецкую овчарку. Боевая собака, может защитить хозяина. Ее стоит кормить... У вас овчарка?

О в е ч к и с. Нет, у меня доберман-пинчер.

Рахиль. Как? Боберман-пинчер? Что ты скажешь, Злота? В Москве уже собаки имеют фамилии как люди... У моего покойного брата была собака, так ее звали "Шарик"... Он с ней только по-еврейски говорил. Он ей говорил: Шарик, штэл зех ин угол... Значит, Шарик, становись в угол... Он шел и становился... По-русски он не понимал.

О в е ч к и с. Шарик вполне русское имя... Странно, что он понимал только по-еврейски (*смеется*).

Миля (*смеется*). Ну, теща, вы даете... (*К Овечкису*). Ну, люди всю жизнь прожили в Бердичеве... А как вообще Москва?

О в е ч к и с. Стоит на своем месте.

Миля. А как "Аннушка", как "Букашка"... Я имею в виду кольцевые трамваи.

О в е ч к и с. Скажу откровенно, я трамваем не пользуюсь, у меня машина.

Рахиль. Там в Москве у многих машины... А как Виля живет? Вы в Москве часто видите?

О в е ч к и с. К сожалению, мы в Москве не были знакомы... Действительно нелепость: приехать из Москвы в Бердичев, чтоб познакомиться...

З л о т а. Вам про него Быля рассказывала?

О в е ч к и с. Почему Быля? Я в Москве о нем много слышал.

Рахиль. А что случилось?

О в е ч к и с. Случилось? Именно случилось... Может быть, именно случилось... Поэтому мне и хочется познакомиться с этим человеком.

Рахиль. Что-то я вас не понимаю? Он работает, у него хорошая зарплата? Мы же ничего не знаем, он нам ничего не рассказывает.

О в е ч к и с. Вилли Гербертович пользуется авторитетом в нашем кругу...

Рахиль (*смотрит, выпучив глаза, подперев щеку ладонью, пожимает плечами*). Ну, пусть все будет хорошо.

З л о т а. Дай вам Бог здоровья за такие хорошие слова. Я всегда говорила, что люди лопнут от зависти, глядя на него (*плачет*).

Рахиль. Злота, что же ты плачешь? Ты же слышала, что все уже хорошо. (*К Овечкису*). Вот так мы живем... Что делать, старые люди... Пенсионеры...

Р у з я (*медленно говорит, глядя перед собой*). Сейчас таки много пенсионеров... Если бы я своими ушами не слышала и своими глазами не видела, я б никому никогда это не рассказала. Один лежал в больнице, так пришла комиссия и сказала, почему так много пенсионеров занимают койки.

Миля. Я скажу честно: простому человеку, простому рабочему таки плохо, пенсионер он или нет... Вот я на бюллетене... Придешь к завкому, так он тебя обругает и ты уйдешь ни с чем.

Р у з я. Завком у нас таки грубый. Я работаю в электро-монтажном цеху уже десять лет, мой муж в отделе технической информации — уже двадцать лет, но что у завкома ни попросишь, он отказывает... Он говорит: откуда я возьму, что я, подоюсь...

Миля. Он таки грубый.

Р у з я. А если б вы видели жену завкома. Никто она, никто. Но она жена завкома. Пойдет в "Гастроном" самую лучшую колбасу, конфеты... Миля видел, какое мясо ей дали.

Миля. А он никому ничего не делает... Ну, пойдём, Рузя, уже поздно.

Р у з я. Да, мы пойдём... Спокойной ночи. *(Уходят).*

О в е ч к и с. Я завтра утром уезжаю, а мне хочется познакомиться с Вилли Гербертовичем. Вы не возражаете, если я ещё посижу?

З л о т а. Сидите, сидите... Может, вам включить телевизор? *(Включает).*

Рахиль. Злата, только сделай потише, я хочу позвонить на почт. *(Набирает номер.)* Будьте добры, вчера вечером в половине двенадцатого позвонили из почты и сказали, что я два раза звонила по одному талону, номер 84... Нет, дорогая моя, в половине двенадцатого я звонить не могла. Я ложусь после последних известий по телевизору, после передачи "Время"... Жалко шестнадцать копеек... А вейтек вам... Я вам не дам лишнее... Я пенсионер... У меня шестнадцать копеек это один хлеб... Я позвоню начальнику... Что вы бросили трубку? *(К Овечкису).* У вас в Москве тоже такие телефонистки? Ой, это ужас, что за телефонистка... Такой ужас, что нет примера... У вас тоже такие есть?

О в е ч к и с *(улыбается)*. Всякие есть.

З л о т а. Вот, кажется, идет Виля. *(Входит Виля)*.

В и л я. Дождь, но воздух хороший... Я обошел весь город, был за Греблей... Оказывается, башню снесли... Город как без носа.

Рахиль. . Она девяносто лет стояла. Болячка на них... Ее не могли снять, так военные ее взорвали.

З л о т а. Вот к тебе пришли.

О в е ч к и с. Очень рад познакомиться. Много о вас слышал в Москве, но странно, что встретились мы в Бердичеве... Овечкис Авнер Эфраимович...

В и л я. Очень приятно *(садится)*.

О в е ч к и с. Ну как вам Бердичев?

В и л я. Бердичев? *(Достаёт блокнот, читает.)* Уездный город Киевской губернии на реке Гнилопяти. По переписи 1897 года 80 процентов евреев. Селение Беричиков, входившее в состав Литвы, упоминается в акте 1546 года. В 1793 году присоединен к России в качестве местечка Житомирского уезда Волынской губернии.

О в е ч к и с. Это словарь Граната?

В и л я. Да... Но вот я сейчас ходил в дождь, смотрел и думал... Я не был здесь пятнадцать лет, я ходил и думал, что есть Бердичев? И я понял, что Бердичев — это уродливая хижина, выстроенная из обломков великого храма для защиты от холода, и дождя, и зноя... Так всегда поступали люди во время катастроф, кораблекрушений, когда они строили себе на берегу хижины из обломков своих кораблей, во время землетрясений или пожаров, когда они строили хижины из обломков разрушенных или сгоревших зданий... То же самое происходит и во время исторических катастроф, когда людям нужно место не для того, чтоб жить, а для того, чтоб выжить... Вся эта уродливая хижина Бердичев, человеку, приехавшему из столицы, действительно кажется грудой хлама, но начните это разбирать по частям и вы обнаружите, что заплеванные, облитые помоями лестницы, ведущие к покосившейся двери этой хижины, сложены из прекрасных мраморных плит прошлого, по которым когда-то ходили пророки, на которых когда-то стоял Иисус из Назарета... В столичных квартирах вы никогда этого не ощутите.

О в е ч к и с. Все что вы говорите — очень интересно и поэтично, день-два еще можно находиться здесь, в этой хижине, но потом хочется уйти, убежать, спрятаться. Во всяком случае, у меня такое чувство. Неужели вам не хочется обособиться от всего этого?

В и л я. Величайшее благо человека — это возможность личного обособления от того, что ему неприятно. А не иметь такой возможности, величайшая беда. Но личное обособление возможно только тогда, когда нация скреплена внутренними связями, а не внешними загородками. Русский может лично обособиться от неприятных ему русских, англичанин — от не-

приятных ему англичан, турок — от неприятных ему турок. Но для евреев это вопрос будущего. До тех пор, покуда мы скреплены внешними загородками, а не внутренними связями, я не смогу внутренне обособиться от Макзаника.

Овечки с. Кто это Макзаник?

Рахиль (*из соседней комнаты*). Это один бердичевский дурак.

З л о т а. Рухл, ша... Дай людям поговорить...

В и л я. Одним из главных признаков всякой несамостоятельности, в том числе и национальной несамостоятельности, является придание чрезмерного веса чужому мнению. Отсюда панический страх перед тем, что о нас подумают в связи с тем или иным событием, что о нас скажут... Отсюда чисто мифологический страх перед детско-обезьяней кличкой "жид"... Этот страх — результат придания чрезмерного веса чужому мнению... Научиться пренебрегать чужим мнением, вот одна из основных национальных задач... Все достигшие исторической устойчивости нации в прошлом и настоящем поступали именно так.

Овечки с. Говорите вы интересно, но не призываете ли вы к национальной ограниченности... Ведь мы с вами люди другой культуры, другого языка, другого мировоззрения...

В и л я. Можно отречься от своих идеологических убеждений, но нельзя отречься от собственного носа... И если идеологический перебежчик выглядит непорядочно, то национальный перебежчик ко всему еще выглядит и смешно. (*Пауза*).

Овечки с. Извините, но то, что вы проповедуете, мне глубоко чуждо... Мои родители были русские интеллигенты, мой дед был русский врач и лечил русских крестьян, за что был ими горячо любим... Я никогда не думал, что вы человек подобных взглядов... Проповедь национального обособления в сегодняшнем мире — это нелепость.

В и л я. Я ничего не проповедую... Я скорей не проповедую, а исповедую... Я считаю, что покуда не будут восстановлены внутренние связи, не могут быть сломаны многовековые внешние загородки. Это все самообман... А только когда будут сломаны внешние загородки, взойдет над нами

и над народами, среди которых мы жили обособленно веками, взойдет общее солнце и мы вместе позавтракаем крашеными пасхальными яйцами с мацой...

Овечки с. Да, не ожидал, что вы человек таких взглядов... Мне всегда был чужд национализм... Но я надеюсь, что в Москве мы побеседуем менее сумбурно... Вот моя визитная карточка... Всего доброго.

З л о т а. Вы уже уходите?

Овечки с. Пора... Всего доброго... (*Уходит*).

Рахиль. С этим ты тоже поругался? Что он тебе оставил за картонка? (*Читает*). Овечки с Авнер Эфраимович, доцент... Духота в паровозе...

З л о т а. Почему он поругался? Я еще такого человека не видела... Ты же слышала, что этот доцент о Виле самого лучшего мнения... Он пришел и такое про тебя тут рассказывал, он говорит, что ты в Москве большой человек и он специально пришел с тобой познакомиться... Он таки умный человек?

В и л я. Он идиот...

З л о т а. Идиот? Как это идиот, когда здесь написано доцент... Что значит идиот? Он о тебе такого хорошего мнения, а ты говоришь на него идиот... Ты и Рахиль таки похожи.

Рахиль. Мы таки с Вилей похожи... Это у Злоты все хорошие... Этот Овечки с приехал несколько лет назад, но я не хотела ему напомнить... Ин ди вайсе эйзелех... В белых брючках... Да... Эпес а вейдел... Это какой-то хвост... Слышишь, это второй Макзаник, хоть он пишется доцент... На Макзаника тоже говорят, что он инженер, а что он кончил... Он кончил в уборной и знает, извините за выражение... Что я не понимаю... Для того, чтоб писать стихи, надо кончить какие-нибудь хорошие институты, а он кончил бердичевский техникум...

З л о т а. Ай, идут они все к черту... Давай включим телевизор и будем пить хороший чай с хорошими коржиками, с вареньем и пирогом... Хочешь чай?

Рахиль. Что ты его спрашиваешь? Конечно, он хочет... Этот телевизор я взяла в рассрочку... Когда они тут жили, так Миля не давал Злоте смотреть телевизор.

З л о т а. Ты же хочешь поменять квартиру и опять вместе с ними жить....

Ра х и л ь. Ай, моя сестра, чтоб ты мне была здорова... Я железная, что я тебя терплю... Буду я с ними жить, или не буду, еще посмотрим. Ты ж понимаешь, я люблю Милю... Виля, ты помнишь, как в 47-м году Миля стал здесь в дверях (*поднимается, становится в дверях*), и сказал (*меняет голос под Милю*): теперь понятно, куда мои деньги идут. На кормление тетушки и племянника... (*Опять садится к столу*). Ты помнишь? Ты тогда маленький был... Ой вей з мир...

З л о т а. Рухл, дай спокойно попить чаю. Миля теперь сильно изменился к лучшему.

Ра х и л ь. Да, он изменился... Он должен лежать парализованный и спрашивать, что делается на улице (*смеется*). Слышишь, он и Рузя неделями не разговаривали между собой... Сейчас они пришли вместе, а на прошлой неделе они не разговаривали... Они не разговаривают, а спят вместе (*смеется*).

З л о т а. Какой он ни есть, а Рузя его любит.

Ра х и л ь. Ой, ди шмоте кер цы дым тухес... Слышишь, Виля, эта тряпка от этой задницы... Если я скажу, так это сказано... Здесь лет восемь назад был праздник в День Победы... Так Маматюк, что он уже лежит в земле, пусть себе лежит на здоровье, так этот Маматюк начал кричать, что в братской могиле лежат все нации, кроме жидов... Так я ему дала — "жиды", он синий стал... Тогда Овечкис, что он приходил сейчас спорить с тобой и Бронфенмахер, что он хотел носить через меня помои, и Быля, что она дует от себя, сказали на меня, что я скандалистка...

З л о т а. Давай лучше смотреть телевизор... Слушай, этот артист что-то так кричит...

Ра х и л ь. Когда этот артист приходит домой, так ему болит в горле. Правда, Виля? Ой, это тяжелая работа...

З л о т а. Что это за передача, Виля?

Виля. Это Шекспир... Гамлет...

З л о т а. Смотри, какая рыба на столе... (*смеется*).

Ра х и л ь. Ах, я б кушала кусок рыба.

З л о т а. Как это все составляют? Наверно, выкручивают себе голову (*смеется*).

Ра х и л ь. Хорошая кастрюля... Тебе эта передача нравится, Виля?

Виля. Нет.

Ра х и л ь. Ну, давай переключи на последние известия... Хороший телевизор... Миля думает, что я ему дам этот телевизор... Я ему могу дать от раввина яйца...

З л о т а. Боже мой, какие выражения, мне темный стыд за твои выражения... Ты таки большой грубиян.

Ра х и л ь. Ничего, пусть я буду грубиян... Я ему могу дать, ты ж понимаешь... Нет, буфет я им обещала, и этот шкаф, но свою кровать я им не дам... Ой, моя кровать, она стоит миллионы, когда я в нее ложусь... Я им достаточно давала и это все равно, что ничего... Они все равно неблагодарны... Было время, когда они жили у его мамы, болячка ее отцу, где он лежит в земле перевернутый...

З л о т а. Ой вэй з мир (*смеется*).

Ра х и л ь. Да... Так им было далеко ходить на обед с завода... Так мы им варили здесь обед... Так Злота ему подала, так он ей сказал — "не подавайте, мне противно, когда вы подаете..." Что ты смеешься, Злота... А сейчас они с Рузей пришли и Миля был такой голодный, я же видела... Но что значит голодный, он бы съел лошадь... Но я ему ничего не дала. И всегда, когда он придет, у меня для него стол будет голый, как задница без штанов...

З л о т а (*смеется*). Это с первого дня так... Они друг с другом воюют уже двадцать семь лет... Ты помнишь Рузина свадьба?

Виля. А где Пынчик?

З л о т а. Ой, что ты вспомнил про Пынчик... Пынчик-таки был на Рузиной свадьбе.

Ра х и л ь. Что мне этот Пынчик? Я его в моей жизни, может, три раза видела... Кто он мне такой? Тройордная пуговица от штанов...

З л о т а (*тихо*). Про Пынчик нельзя говорить, он уехал

в Израиль со всеми детьми... Когда ты его видел на Рузиной свадьбе, после фронт он был майор... А потом он уже был полковник и в Риге имел хорошая квартира. Так он все бросил и куда-то поехал...

Рахиль. Ай, что мы будем про него говорить... Я про него не думаю даже когда сижу в уборной... Пусть едет... Я никуда не еду... Пусть едут те, у кого большие деньги... Я люблю Бердичев... Ой ээй э мир... *(Вздыхает)*. У меня есть моя пенсия от Советской власти.

Злота. Ой, смотри но, смотри по телевизору... Что это это так много людей... Что они что-то покупают?

Вилля *(смеется)*. Это митинг показывают... Борьба за мир...

Рахиль. Борьба за мир... А что нового говорят в Москве? Раньше говорили: в Москве есть три знаменитых еврея. Один молчит, другой говорит... Нет, не так... Один пишет, второй говорит, а третий молчит... Пишет Илья Оренбург, говорит диктор Левитан, а молчит Каганович... Что ты думаешь, я не понимаю, я елд... Я ыв партии с 28-го года... Я еще помню, как писали в газете: Ленин, Троцкий, Луначарский строят мир по-пролетарски...

Злота. Завтра на рынке надо купить два свежих бурачка, я хочу варить борщ.

Рахиль. Споц с тобой... Ты мне не говори что покупать, я без тебя знаю.

Злота. Так она не дает мне рот открыть... В Средней Азии я была здоровая, так я сама ходила на рынок... Я помню, там был Куриный базар, Капан базар... Когда я подходила и спрашивала: Нич пуль... Мне отвечала: бир сум... Так я говорила: их зол азой высын фын дир... Чтоб я так про тебя знала *(смеется)*. Ой, Вилля, в Средней Азии ты сказал, что хочешь винегрет... Я взяла карандаш и подсчитала, сколько стоят бурачки, и морква, и огурцы, и постное масло, и соль, и все вместе. И получилось, что винегрет должен был стоить пятьсот рублей. Разве себе можно было такое позволить? Но завтра я тебе сделаю хороший винегрет...

Рахиль. Вот уже кончились последние известия, уже

спорт. Вот уже эта женщина вышла рассказывать про спорт. Когда никого нет, мы двое, и она выходит рассказывать про спорт, или еще мужчина есть, что он рассказывает про спорт, мы выключаем телевизор и ложимся спать... Спорт меня не интересует, а завтрашнюю погоду я увижу в окне... Смотри, Злота, она в той же самой кофточке... Больше она не имеет.

Злота. Эта вот, что она говорит про спорт, похожа на Марикину Надю. Я к Марикиной Наде ничего не имею. И к Гарикиной Наде тоже ничего не имею.

Рахиль. Все наши невестки из села, крестьянки. Ни одной, чтоб отец ее был доктор. Ах, лучше бы уже Гарик женился на Лушиной Тинке. Ты знаешь, Вилля, где теперь Лушина Тинка? В аспирантуре в Москве. Мама у нее сволочь, паршивая уборщица, имела Тинку от немца, а Тинка в аспирантуре. И какая она красивая, если б ты видел... Гой все годы имеет счастье.

Злота. Я к Марикиной Наде ничего не имею. Она очень вежливая дама.

Рахиль. Дама... А кое... Крестьянка из села...

Злота. Ну, так что такое, она из хорошей семьи... Отец у нее очень хороший... Его зовут Иван Иванович. Когда он тут был, он сидел со мной и говорил. Он рассказал мне свою автобиографий... Когда он был маленький ребенок, их было восемь детей и его отдали пану служить во двор. Он был батрак. Потом, когда началась революция, ему уже было двенадцать-тринадцать лет. Он поступил в комсомол, но не знал ни одной буквы. Его отправили на железную дорогу. Он был способный. Его выдвинули. Он получил два ордена Ленина. И сказал: когда у меня будут дети, они получат высшее образование.

Рахиль. Злота, не говори с полным ртом... Сидеть с тобой за столом, так может вырвать... У тебя все падает изо рта...

Злота. Ну вот так она рвет от меня куски.

Рахиль. Ты слышишь, я рву от нее куски. Злота же в раю и это для нее равным счетом ничего. Я с астмой таскаю

те еще сумки, я все заносу. Или Рузя приносит, когда у Рузи есть время... Злота в рай, ей все заносят в дом, но она это не признает, ей еще не нравится, она еще устраивает мне скандалы, почему я плохо покупаю. Почему дорого... Иди сама на рынок...

З л о т а . Ну вот так она на меня наговаривет... Я такая больная, я уже не могу работать... Я уже еле хожу... *(Плачет)*. Здесь в квартире у меня ничего нет. Я только имею швейную машину и эти два стула мои, и кровать, и за полшкафа я заплатила. А холодильник ее, телевизор ее. Мне неудобно смотреть телевизор, я не имею, откуда дать ей за телевизор половину.

Р а х и л ь . Сумасшедшая... Что я, Миля, что он закрывал перед тобой телевизор... Я тебе что-нибудь говорю? Смотри себе на здоровье... Ой, Виля, я железная, что я от нее выдерживаю. Можно ведь прожить тихо, мирно эти немножко лет, что остались... Что бы ни было, Виля, но лишь бы ты любишь свою квартиру и свою жену... Я свою квартиру люблю, а свою жизнь я не помню. *(Вздыхает)*. Злота, ты знаешь, кто мне этой ночью снился? Цолек Мардер мыт ды крюме фис... Цолек с кривыми ногами, что он был директор Торгсина в 25-м году... Почему он мне приснился? Когда я сижу в уборной, я про него не думаю.

З л о т а . А мне в прошлую ночь Фаня приснилась, что она повесилась в день Рузиной свадьбы. Ты помнишь, Виля? Ее муж был гой. Он ее очень бил. Сначала он ее прятал от немцев, он ее спас, а потом он ей кричал "жидовская морда" и бил, и детям кричал "жиды". Но его тоже нет. Он ехал на мотоцикл и убили к черту.

Р а х и л ь . В день свадьбы, когда она повесилась, он прибежал голый по снегу, с ребенком на руках... Этот ребенок уже в армии. А Зоя, Люсина подруга, за еврея замуж хотела выйти. Тут один хороший парень за ней ухаживал.

З л о т а . Эта Фаня стоит мне перед глазами... А Стаська, ты помнишь, полячка снизу... Так пришли и ее арестовали... Она жила на чердаке, потому что квартиры у нее не было... Где-то она далеко выслана.

Р а х и л ь . Ой, что я буду про нее думать. Если мой муж лежит в земле, и младший брат наш Шлойма в земле, и Виллы родители в земле, и Сумер в земле... Ой, Сумер... Теперь уже можно рассказать... Тут был Перель, председатель артели, так он Сумера не любил, потому что Сумер знал, что этот Перель берет взятки... Ничего... Так когда Переля сняли, Сумер купил венок и ночью поставил его возле Переля дома. Перель вышел из дома и видит венок и надпись: "Вечная память Арону Михайловичу" *(смеется)*.

З л о т а . Ой, ой, ой...

Р а х и л ь . Что такое?

З л о т а . Что-то мне стрельнуло в голову...

Р а х и л ь . Ой, Виля, я железная... Злота, что ты держишься за голову... Ты мне не делай номера... Ты же видишь, что от человека ничего не остается *(вздыхает)*. Только запах, если он полежит лишний день...

В и л я . А Луша где работает?

Р а х и л ь . Черт ее знает, где-то уборщицей.

З л о т а . Луша кормит коза. Я ей всегда собираю лушпайки от картошки.

Р а х и л ь . Злота ей собирает лушпайки, а она Злоте кричит: "ты труп" и ко мне бежит с палкой и кричит "жиды"... А потом она приходит мириться и говорит, что она за меня молится в церкви... Вчера она подошла ко мне во дворе, обняла меня и говорит: я больше не буду с вами спориться, в городе говорят, что вы хороший человек... Я ей отвечаю: ко мне цепляться может только сумасшедший... Она мне говорит: Рахиль, я за твоё здоровье буду молиться в церкви, потому что за врага полагается по нашей религии молиться. А я ей говорю: я в Бога не верю... Я только верю в день рождения и в день смерти.

З л о т а . Что значит, она бежит к тебе с палкой... Надо вызвать милицию.

Р а х и л ь . Мне милиция не нужна, я сама милиция. Все годы я сама себя защищала. Только от детей своих я не могла себя защитить. Рузя, когда она была беременна Мариком, порвала на мне рубашку, а Гарик, когда он хотел жениться

на Тинке, порвал на мне халат. А больше никогда в своей жизни я порванного белья не имела. А Былинка, что ее муж имеет все буфеты на железной дороге, когда приходит к Злоте мерить и раздевается, так у нее порванное белье. Ей на белье не хватает, такая она вонючая...

З л о т а. Она только хочет, чтоб я спорила с Былей. Кто у нас еще остался? Мало мы пережили... Ты помнишь, когда был погром, а мы лежали под стенкой и прятались от эти красные колпаки, и деникинцы, и другие бандиты. Тогда бомб не было, но были пули... Ой, и куса дров нельзя было достать, мы не топили, но мы все были здоровые и молодые. У папы нашего были большие ботинки, я их одела и пошла искать дрова и хлеб... Ты помнишь дедушку?

В и л я. Помню.

Р а х и л ь. Ой, когда он умирал в Средней Азии, так он был доволен, что земля эта, где он будет лежать, похожа на Палестину... Он был религиозный.

З л о т а. Пекари, которые пекли тогда хлеб, были бедные, а стали богатые, потому что хлеб стоил дорого. Даже у кого был капитал, тоже не имели где купить... Я взяла мамин платок и поменяла его на полный мешок пшено... Шлойма наш, что его потом убили на фронт в 42-м году, был самый маленький, маленький... Но на Песках был лес, назывался "маленький лесочек" и мы ходили все и рубили ветки, и Шлойма тоже ходил. Но мы все боялись красные колпаки. Это такие бандиты. Кроме красные колпаки, они еще пелерины носили... Это было в 18-м году. Мы слышим крики, открываем ставни, смотрим: напротив вышли красные колпаки, грабили... А на другой день опять менялась власть.

Р а х и л ь. Злота, не кричи так. У тебя железный голос.

З л о т а. Ну, она не дает мне слова сказать... На Пылепылер гос, на Белопольской улице, потом на Малой Юридке, за Греблей и всюду люди бегали и кричали "гвалт"! Но когда вошли поляки, они резали евреям половину бороды... Все евреи ходили с половиной бороды (*смеется*). Они хотели обрезать папе борода, я начала кричать и поляк не обрезал, но ударил меня нагайкой... Во всем городе Бердичеве был

гвалт. Этой ночью очень много убивали людей... Были богачи, что они имели деньги и удрали в Киев. Но там тоже был погром и их всех убили в Киев. Но когда у нас наверху, там, где мы жили, был Совет рабочих, крестьянских депутатов, тогда легче стало, укрепилась немного власть. Туда без мандата не пускали. Там были Фаня Ниренберг и Котик Ниренберг... Ну, его звали "Котик", такое имя... Они были большие богачи, а потом стали большевики. И были Стадницкие, три сестры. Их отец держал на Житомирской фирму "Гуталин". Одна была эсерка, одна большевичка, а одну убили... Ой, как они выступали на собрании... Я по целым дням сидела на собрании, мне было интересно все знать... Меня пропускали. Когда появился Совет рабочих и крестьянских депутатов, так уже стало немного тихо.

Р а х и л ь. Как Христос с ферц, так она со своими историями (*смеется*). Ты знаешь, что такое ферц, Виля? Это когда кто-нибудь навоняет.

З л о т а. А почему нельзя это рассказывать? Что, я анекдоты рассказываю? Я это видела своими глазами.

Р а х и л ь. Я всю жизнь не любила анекдоты... Ты в Москве рассказываешь анекдоты?

В и л я. Рассказываю.

Р а х и л ь. Рассказывай, рассказывай, так ты останешься без куска хлеба... Я анекдоты не любила, но что ты думаешь, я елд, я ничего не понимаю... Тут у нас был в Бердичеве Свинарец, секретарь горкома, что когда была реформа в 47-м году, он покрыл долг старыми деньгами, чтоб не отдавать новыми. Так теперь он на пенсии. Ты бы видел, какой у него двухэтажный дом, какая мебель из Чехословакии. И сыну он построил дом. А Ленин тащил из карманов куски хлеба и ел их... Кабинет у Ленина был красивый, но что было в этом кабинете? Он и кошка. Когда Ленин лежал больной, так Крупская читала ему детские сказки... Что ты думаешь, я глупая, я не понимаю... Я помню, что делалось здесь в 29-м году во время коллективизации. И когда в 37-м году Капцана должны были арестовать, так он быстро уволился с работы и уехал в Чуднов (*звонок в дверь*). Что это еще за су-

масшедший идет? Злота, ты сиди... Я всегда боюсь, что она пойдет открывать дверь и зацепится и себе что-нибудь по-бьет.

В и л я . Я открою (*идет и возвращается с мальчиком, который держит в руках лист бумаги*).

Рахиль. Вусы, ингеле? Что такое, мальчик?

М а л ь ч и к . Подпишите.

Р а х и л ь . Что такое я должна подписать? Я ничего не подписываю.

М а л ь ч и к . Подпишите... Свободу патриотам Испании.

Рахиль. Что, что? Что-то я не понимаю.

В и л я . (*смеется*). Ты должна подписаться, чтоб из испанских тюрем выпустили патриотов.

Рахиль. Так у вас в Москве тоже ходят такие мальчики? У нас первый раз... Кто тебя послал, мальчик?

М а л ь ч и к . Учительница.

Рахиль. И мама тебя пускает так поздно ходить?

М а л ь ч и к . Я не успел днем собрать все подписи, я был на тренировке. Мне надо три дома обойти.

Р а х и л ь . А шейн ингеле... Красивый мальчик... Как твоя фамилия?

М а л ь ч и к . Иванов.

Р а х и л ь . Ой, это же твой дедушка работает в промкооперации заготовителем скота (*смеется*). Это Хаима Иванова внук. Виля, я тебе про них рассказывала, про эту семью... Это про ту, что приехала с курорта.

З л о т а (*подходит с паспортом*). Я когда-то сама ходила на участок, а теперь мне ноги болят. До войны я в шесть часов утра уже была на участке.

Р а х и л ь . Куда ты идешь с паспортом... Ты думаешь, это выборы?

З л о т а . Как, это не голосование?

Р а х и л ь (*смеется*). Она привыкла... Ей все заносят домой... Даже бюллетень по голосованию ей заносят домой и коробку, куда его надо бросить... А если б ты жила при капитализме, об тебе бы никто не заботился. Ты сама должна была бы идти на голосование.

З л о т а . Смейся, смейся... Я такая больная... Я ходила на выборы, в шесть утра я уже была на участке, а теперь я не могу...

Р а х и л ь . Нет, что-то мне эта история не нравится... Я пойду во двор к Дуне узнать, или она подписала.

З л о т а . Мальчик, на тебе коржики.

М а л ь ч и к (*берет коржики*). Спасибо, бабушка...

З л о т а (*обиженно*). Почему я бабушка? Я тетя. Что ты мне говоришь "бабушка". Я тебе дала коржики, а ты мне говоришь "бабушка".

Р а х и л ь (*Виле*). Вот ты имеешь... Ой, от нее невозможно выдержать... Мальчик, идем, я у соседей узнаю... Если они подписали, так и я подпишу... Идем... (*Уходят*.)

З л о т а (*Смотрит фотографию на своем паспорте*). Ой, здесь фотография моя, может, лет двадцать назад. Я очень постарела (*плачет*). Я ничего не могу кушать. Что бы я ни покушала, мне кисло во рту... Ой, если б ты мне не помогал и если б не Рахиль, я б давно была на том свете... Рахиль очень хорошая, но она слишком быстрая...

В и л я . Когда она тебе покупает, как и раньше, берет лишнее?

З л о т а . Сколько она там берет... Пятнадцать-двадцать копеек... (*Смеется*). Она иначе не может... Иногда она мне одалживает деньги и хочет заработать на своих собственных деньгах... Колбаса стоит два пятьдесят, она говорит два шестьдесят... Или за маргарин берет с меня лишние пять-шесть копеек... Она должна выгадать, это ей нравится... Но это же моя единственная сестра, пусть она получает удовольствие, на здоровье... (*Смеется*). Она думает, что я не понимаю, сколько стоит колбаса...

Возвращается Рахиль.

Р а х и л ь . Я таки не подписала... Пусть Дуня подписывает, пусть все подписывают... Откуда я знаю, что это за патриоты Испании? Пусть с этой бумагой придет кто-нибудь из Исполкома, тогда я подпишу... Что ты смеешься, Виля?

Виля. Я не смеюсь. *(Смеется)*.

Рахиль. Смейся, смейся надо мной... Ты хойзекмахер... Насмешник... Над всеми он смеется... Смеется над Рузей, смеется над Люсей, над Петей, над Мариком, над Гариком, над Аллой, над Ладой...

З л о т а. Боже мой, Боже мой, она уже опять хочет крики...

Рахиль. Ша, Злота, какие крики... Кроме тебя, здесь никто не кричит... Виля, что ж ты не пьешь чай? Покушай что-нибудь...

Виля. Я не голоден...

Рахиль. Не хочешь, так не надо...

З л о т а. Он устал. Иди спать, Виля... Сделать тебе на ут-ро котлеты из куриного бейлека?

Рахиль. Разве он знает, что такое бейлек?

Виля. Знаю. Я ведь еврей. Бейлек — это белое мясо курицы.

Рахиль. Ой, он так знает... Ты иногда берешь в столовой котлеты? Ой, я люблю котлеты из столовой.

З л о т а. Фэ, они же делаются из свиной...

Рахиль. Ну, я не религиозная...

З л о т а. Я тоже не религиозная, но свиное мне воняет в нос...

Рахиль. Виля, а про что ты говорил с этим Овечкисом? Что-то я не поняла.

З л о т а. Что ты вспомнила, он хочет спать... Идут они все к черту.

Виля. Про что я говорил? Я говорил, что вы свой бердичевский дом сами себе сложили из обломков библейских камней и плит, как бродяги складывают себе лачуги из некогда роскошных обломков автомобилей и старых вывесок... А Овечкис живет в чужих мебелированных комнатах... Но скоро весь Бердичев переедет тоже в мебелированные комнаты, а библейские обломки снесут бульдозерами...

Рахиль. Так вы про квартирный вопрос с ним говорили?

Виля. Что-то в этом роде... По сути, про квартирный вопрос.

Рахиль. Ты так прав. Я так хочу переехать. У меня нет сил таскать ведро с помоями по лестнице... Так Злота рвет от меня куски... Она говорит, что она хочет здесь умереть...

З л о т а. Ай, вечно она хочет меня плохо поставить перед людьми...

Рахиль. Ша, Злота, закрой пасть... Ты же видишь, Виля спать хочет...

З л о т а *(вздыхает)*. Ой вэй з мир...

Рахиль *(вздыхает)*. Ой вэй з мир... Каждый день имеет свою историю... Я тебе скажу, Виля, что год для меня прожить не трудно. Год пролетает и его нет... А день прожить очень тяжело. День так тянется, ой, как он тянется... И после каждого дня я мертвая... Спасибо моей кровати, она стоит миллионы... Я мою кровать никому не отдам... Ой, дыс бет...

З л о т а. Что ты ему говоришь, ты видишь, у него слипаются глаза. Виля, иди спать. *(Виля уходит)*.

Рахиль *(выключает телевизор)*. Давай, Злота, подсчитаем, сколько я тебе денег потратила... Что ты вздыхаешь? Что тебе плохо? На улицу ты не ходишь. Тебе даже коробочку спичек в дом заносят...

З л о т а. Рухл, перестань меня грызть...

Рахиль. Ша, Злота, голос, как у грузчика... Виля ведь лег спать... Что б ты онемела...

З л о т а. Она делает меня с болотом наравне...

Рахиль. На рынке все так дорого, и вообще все так дорого, так я виновата. Вот сейчас я начну подсчитывать, ты опять начнешь кричать "гвалт".

З л о т а. Говорит, и говорит, и говорит... Цепляется и цепляется...

Рахиль. Ша... Значит, пишем: мясо — два рубля 45 копеек, огурцы — шестьдесят, капуста — пятьдесят, морковь — пятнадцать, буряк — двадцать, редька — десять, резка петухи у резника — двадцать пять копеек... Имеем четыре рубля 25 копеек... Это на рынок... Потом магазин: колбаса — два шестьдесят, сегодня колбаса дороже, масло — один рубль пять копеек, маргарин — восемьдесят шесть, сыр — семьде-

сят, хлеб — тридцать две, молоко — двадцать шесть. Имеем пять семьдесят девять... На, проверь... За ситро я у тебя не беру... На, проверь...

З л о т а . Зачем мне проверять, у меня нет времени проверять... Я хочу сделать на утро фарш для котлеты...

Р а х и л ь . Дай лучше я быстро сделаю... Я не могу смотреть, как ты поцеяся и поцеяся возле мясорубки...

З л о т а . Я не люблю мясорубку, котлеты не сочные, я буду мясо рубить секачом...

Р а х и л ь . Хочешь рубить — руби... А на первое свари бульон из гуся... Крылья, пулки, лук, морковочка, немного фасоли... Все есть... Что тебе не нравится, какой гусь я купила? Чтоб я имела такой год, какой это гусь.

Злота идет на кухню, там слышен грохот.

Р а х и л ь *(испуганно вскакивает, бежит на кухню)*. Тьфу на твою голову, на твои руки и ноги, как ты меня перепугала. Ты, если не разбиваешь что-нибудь, так сама падаешь. Я тебя боюсь одну оставить дома.

З л о т а *(ее голос слышен из кухни)*. Где бы взять еще, чтобы мне было пятьдесят лет, так я бы лучше ходила...

Р а х и л ь . Сделай меньше огонь...

З л о т а . Куда ты сыпешь соль? Ой, я думала, это соль...

Р а х и л ь . Что за тряпку ты надела на голову? Вус ыс фара шмоте?

З л о т а . Мне болит голова.

Р а х и л ь . Бынд дым тухес... Когда болит голова, завязывают задницу... У меня астма, но я таскаю на лестницы каждую сумку, что дым идет...

З л о т а . С тобой стоять за плитой, лучше умереть... Я такая больная, что нет примера *(входит в темную комнату с перевязанной полотенцем головой, берет стаканы со стола и опять уходит на кухню)*. Мне надо в фарш немного молока и булку... Я всегда так делаю...

Р а х и л ь . Ты делаешь, а Бог чтоб помог прекратить твои крики...

З л о т а . Смотри, молоко не свежее, а булка как камень...

Р а х и л ь . Злота, ты, наверное, хотела бы, чтоб здесь, в квартире, стояла корова и жил пекарь *(смеется)*.

З л о т а . Эцем-кецем... Рухл, перестань ко мне цепляться... Цепляется и цепляется, как мокрая рубашка к заднице...

Большая комната — темная и пустая. Свет падает только из кухни, откуда доносятся голоса сестер.

Ползет занавес.



Леонид ИОФФЕ

ВОЗЛЕ ПУСТЫРЯ

Есть итоговый жизни припадок,
тот порыва последний виток —
без оглядки на жизни остаток,
от безумия на волосок,

на изнанку, как исповедь, хлынуть,
изойти по несвязным речам,
стать признаний ручьем и лавиной
и о близости что-то мычать,

и отчаянно и безудержно
рухнуть, бухнуться в ноги любви
и ловить край одежд ее нежных
и воздушные руки ловить,

впасть в беспамятство и в безрассудство,
словно завтра и небо и свет
зашатаются и сотрясутся
и обрушатся зданием лет.

Из выходящего в Иерусалиме сборника стихотворений Леонида Иоффе "Третий Город".

Вот и все — лишь обняться осталось,
бормоча и срываясь на вопль,
на любовь разрываясь и жалость,
обожание, нежность и боль.

1977 г.

Так плакать хочется, а слезы не идут,
а слезы — в горле и под сердцем.
Не надо было осторожничать так с детства,
не откликаясь ни на голос, ни на стук.

А я не знал тогда, что буду обездолен,
и жил на цыпочках и не спешил на зов,
и жизнь еще не угадалась как неволя,
когда я прятался от лиц и комаров.

Мне бы расплакаться, исторгнуться навзрыд,
чтоб только не першило в горле —
зачем тот осторожный школьник
ходил на цыпочках и обходил дары.

1978 г.

1

А получилось все не так,
как я рассчитывал и думал,
и вырулило мое судно,
к несчастью, вовсе не туда,
и получилось ровно то,
чем вряд ли следует гордиться, —
не след бурлящий за винтом,
а мертвой гавани водица.

И получается, что я
сам виноват в неверном курсе,
сам выбирал себе по вкусу

свой каравай житья-бытья,
и получилось ровно то,
что сам закладывал и строил,
не жизнь, летящая в простор,
а заводь мертвая обоим.

2

Из мертвой заводи не видно и не жаль
открытую для жизни даль,
раскинувшуюся, как моря
простерт бывает лист,
как лист равнины с вышки взгорья
простерт при взоре вниз.

А я не выйду никогда
в счастливое по морю плаванье, —
у выхода из мертвой гавани
я затопил свои года.

1978 г.

Навсегда или только на месяц
или сроком на счастья аккорд
мы поедем в прекрасное место,
в дачный дом возле моря и гор,

на веранде у столика сядем
или под руку дом обойдем,
все, что скомкано было, разгладим,
а потом оглядимся кругом, —

вот лужайки, скамейки, аллеи,
вот купальня и теннисный корт,
и земля над умом не довлеет,
а лежит возле моря и гор, —

вот где мы и рискнем и сумеем
и поднимемся, как в мираже,
по свободе планировать, реять
без тревог, без камней на душе

и блуждать среди дней без боязни
под объятия и разговор
возле настезь открытого счастья
по земле возле моря и гор.

1978 г.

Я надеялся выжить и так,
без распахнутой отклика дверцы
и без женского мха возле сердца,
лишь бы сносно да без выкрутас,

и заботился тоже не очень,
словно не было важности в том,
и о войлоке женском для ночи
и об облике счастья вдвоем.

А теперь нестерпимо и горько
с вечерами сползаются дни,
и голодному сердцу ни корки,
ни куска не бросают они,

и куда посмотреть или глянуть,
если дней укоризненный ряд
не цветет мне навстречу, а вянет
возле жизни моей пустыря.

На такой бесноватой жаре
есть, о чем пожалеть напоследок,
и о том пожалеть и об этом,
а потом о самом пустыре.

1978 г.

П. Гольдштейну

На газон европейского парка
заказной подают экипаж,
чтобы утренним рейсом нежарким
ехать в бархатный юга пассаж, —

здесь ноябрь, как отпуск в блаженство
или ранняя осень в Крыму;
беззаботным раскованным жестом
я Вас под руку нежно возьму.

Всем понравится чудная пара.
Мы вдвоем начинаем идти
по бескрайнему утра бульвару,
окрыленные днем впереди.

Мы проходим все дальше по скверу,
и легко различаются в нас
красота, благородство и верность
и влюбленная слаженность глаз,

и о том разговор оживленный,
что нисколько не враг белый свет,
и манеры прекрасного дома —
для того, чтобы кончить портрет.

Со скамеек любят нас нами
и вздыхают о чем-то своем,
и еще об уюте-обмане
под семейною байкой вдвоем,

все о том преступлении долгом,
когда замысел вместе гневят
пребыванием тесным, прогорклым —
ради тления и не живя.

1978 г.

Ты погублена, я обездолен.
Мы от слякоти в сердце умрем.
Так дождем наше платье неволи
из материи жизни вдвоем.

Мы условимся: не торопиться —
виноград умирает в вино —
сдадим сердце, как творог в тряпице,
пока мертвым не станет оно.

Каждый выберет саван по нраву,
мы домашнее иго дождем
и подыдем бокалы с отравой
за шикарную гибель живьем.

1978 г.

Ты задела безветрие платьем
и овеяла встречей меня, —
ведь бывает, что ладят со счастьем,
день и вечер за плечи обняв,

ведь бывают счастливые пары, —
мы б легко возвращались домой
после зноя, залившего старый
город, плавающий под жарой.

Мы бы дома открыли все окна,
подружились бы с южной судьбой
и сошлись бы, как створки, бок о бок,
и вплотную бы жили с тобой,

и по станциям дней без опаски
и без тягости плыл бы наш дом
по течению жизни и ласки
рейсом полного счастья вдвоем,

1978 г.



Надежда ПАСТЕРНАК

ЗАПАДНЯ ПРИКОСНОВЕНИЙ

Душа, как чай горячий,
в горло влита...
Простоволосая тоска.
О, как безудержно обидно
глядеть в библейские глаза
твои и плакать от предчувствий,
от родниковой чистоты,
всего земного — не искусства,
небес прощальной высоты.

1979

Так вздрагивает поплавок
на тонкой шее лески.
А чувствам нежным вышел срок
и место дал тоске.

Но я люблю, когда лежишь
и взглядом трогаешь меня.

ЗАПАДНЯ ПРИКОСНОВЕНИЙ

Тогда срываюсь спелой вишней,
смеясь и дерево кляня,

И падаю тебе на грудь,
чтоб вылиться в иную суть
минутой печали.
Нежнейшим чувствам присягнуть
в томительном начале.

1970

Вечерний чай и птицы на заборе.
Страница в книге загнута, и вот:
мне снова кажется, что небо — это море,
а туча на краю — огромный кашалот.

Вечерний свет медлителен и нежен,
Дождь постучит в окошко и уйдет.
Сад задохнется опустевший, влажный
и надо мною власть приобретет.

Вечерний дом мой скрытен и печален.
Глядит во тьму, как сумеречный гость.
Не разгадаю. Под семью печатями
Хранится в нем воспоминаний горсть.

1977

ДЕТСТВО

Останусь вспоминать былую лень,
плед клетчатый и гравий на дорожках,
ведущих в сад, где голуби на пне
воркуют и заигрывают с кошкой.

Плетется из малинника июль,
жара садится в желтые качели.
Мой сад, где детство нежное аук-
нулось и пролетело шмелем.

Стеклянная веранда, птичий сад,
задумчивый и пахнувший вареньем.
...И боль, не признающая преград,
преследует сыновьями коленками.

1978

Шиповник не был голосист.
Он словно маленький горнист
едва-едва надует щеки,
как облачко — его мотив,
в колючки упадет и охнет.

Но вижу— осень золотая,
намеренно, не впопыхах,
его, как пасынка, ругает
и сну бездомному мешает
смять горсть шиповника в руках.

1979

О, как мне тихо с музыкой вдвоем
перебирать минуты откровенья...
Она одна мне тайну выдает:
Нет связи прочной — есть любовь и тленье...

О, музыка, картавая! Смеясь,
ей все равно в каком она обличье.
А души обескровленные власть
над ней уже давным давно не ищут.

1973

Когда срываешь лист иль дуешь на руки,
все рушится, лишь остается в памяти,
как полынья, полоска января,
где острия — не иглы — якоря.
Когда же ты неслышим, точно тень,
мне кажется, что я твой женский плен,
что ты опутан, что твоей любви
привычки над тобою так сильны...
И власть твоя — круги на свежем пне.
И все тогда мне памятной вдвойне.

С утра, я вижу, птицы на траву
слетаются прекрасно и устало,
как будто им совсем неведомо
в далеком небе стало.

Они рисунок душ изобразят,
когда рассыпят перья и застынут
(как на море пустые невода)
причудливой и дикою картиной.

В их приземленье, в музыке их слез
разлад и одиночество увижу,
и землю в ожиданье ранних гроз,
в медовой пазухе застывшей.

Западня прикосновений!
Как мне чудится порой
золотое оперенье
под шершавую корой!

Облак голубые кольца,
и, продетые сквозь них
розовых козлят копытца,
мнущих солнца
круглый лик!



Массовая песня всегда оказывала влияние на жизнь людей России. Для нас, проживших там большую часть жизни, она связана с определенным периодом нашей биографии, и, конечно же, с каким-то этапом в истории страны. Массовые песни не забываются, хотя теперь мы относимся к ним чаще всего с юмором. То одна, то другая всплывают в памяти, воспринимаются как пародии. Небольшой цикл таких пародий мне бы и хотелось предложить вниманию читателей. Первые две из них пришли из Самиздата после XX съезда партии, остальные написаны мной, некоторые еще там, а другие здесь, на Западе.

Владимир Вишняк

Владимир ВИШНЯК

ЛУБЯНСКИЙ НАБАТ

"...И МОЙ СУРОК СО МНОЮ" / Мотив: Бетховен/

Я был вершителем судеб
И мой Сурков со мною,
И часто был я глух и слеп
И мой Сурков со мною,
И мой всегда, и мой везде,
И мой Сурков со мною.

Когда таланты я встречал
И мой Сурков со мною,
На них доносы я писал,
И мой Сурков со мною,
И мой всегда, и мой везде,
И мой Сурков со мною.

Я понял, в чем была игра,
И мой Сурков со мною,
И Сталину кричал ура,
И мой Сурков со мною,

ЛУБЯНСКИЙ НАБАТ

И мой всегда, и мой везде,
И мой Сурков со мною.

Я говорил нередко чушь,
И мой Сурков со мною,
Я загубил немало душ,
И мой Сурков со мною,
И мой всегда, и мой везде,
И мой Сурков со мною.

Хотел я совесть заглушить,
Авэкэ ля мармотэ,
И стал я много водки пить,
Авэкэ ля мармотэ,
Авэк оси, авэк оля,
Авэкэ ля мармотэ.

И вот поняв, что я подлец
И мой Сурков со мною,
Я застрелился наконец...
А Сурков что-то все еще задерживается.

КУДРЯВАЯ (Песня Шостаковича из кинофильма "Встречный")

Нас утро встречает прохладой,
Нас ветром встречает река,
Кудрявая, что ж ты не рада
Приезду за мной воронка!

Прощая, прощай, кудрявая,
Сгноят меня,
Страна встает со славою,
На встречу дня.

Жить стало, товарищи, лучше,
Жить стало куда веселей,

А все ж дотяни до полочки
И с голоду не околей...

Вставай, иди, кудрявая,
Клеймишь меня,
Страна встает со славою
На встречу дня.

Вождя прославляют поэты,
Желанием славы горя,
А кто не согласен на это, —
Того на всю жизнь в лагеря...

И шмон идет облавою,
Штыком звеня,
Страна встает со славою
На встречу дня.

ЛУБЯНСКИЙ НАБАТ /Бухенвальдский набат Мурадели/

Джентльмены, бросьте вашу пьянку,
Слушайте, слушайте, гудит со всех сторон,
Это раздаётся над Лубянкой
Карканье ворон,
Карканье ворон,
Это на Москву восстала тундра,
Турки взяли Крым по Перекоп,
На морях братва кричит: полундра,
Бей их, мать их в гроб,
Бей их, мать их в гроб,
Бей их гадов,
Бей их гадов,
Бей их, мать их в гроб!

Шестьдесят миллионов заключенных
Ширятся, ширятся, идут за рядом ряд...

Мертвых боевые батальоны
С нами говорят, с нами говорят,
И народ приветствует Мессию,
И китайцы заняли Ростов,
И кричит братва: Спасай Россию,
Хлопцы, бей жидов,
Хлопцы, бей жидов,
Бей их гадов,
Бей их гадов,
Хлопцы, бей жидов!

ТЕМНАЯ НОЧЬ (Памяти души бывшего поэта Петрова-Агатова)

Темная ночь,
Только пули вдогонку свистят,
Только ветер по зоне гудит,
Тускло звезды мерцают...
Темная ночь,
Ты, поэт вольнодумный, не спишь
И от вохры два дюжих бойца
Твой барак охраняют...
Смерть не страшна,
Лучше смерть, чем кромешный ГУЛag,
Вот и теперь
Над тобою кружится...
Темная ночь
Над твоею несчастной страной,
И на твой укороченный век
В ней ничто не случится...

Верил в тебя,
Непокорного барда Руси,
Эта вера надежду во мне
Темной ночью хранила...
Горестно мне,
Растоптали тебя палачи,

Наплевал сам ты в душу себе,
Видно, сил не хватило...
Как ни крутись,
Ты поэтом не станешь опять,
И все равно
Будут все тебя сто-ро-нить-ся...
Темная ночь
В твоей странной святошной душе,
Только черт знает, что еще впредь
Может с нею случиться!

"В гроб твою мать!" —
Только слышится "В гроб твою мать!"
Это русская грубая мать
В муках что-то рождает...
"В гроб твою мать", —
И гремит это "В гроб твою мать!"
Это русский несчастный народ
Свою суть выражает.
Мат-диамат...
С ним не раз мы встречались в Москве,
Вот и сейчас
Над землей этот мат кру-жит-ся...
"В гроб твою мать!"
Непробудная пьянка идет,
В этом царстве российских жлобов
Нежлобу не ужиться!

ВЕРНУЛСЯ Я НА РОДИНУ

Вернулся я на родину
И нюхаю блевотину
И пью родную горькую,
Которой век не пил...
Была бы только родина

Душою не уродина,
Тогда б я эту родину
Лелеял и любил!

О, родина-уродина,
О, сколько тебе дадено,
Но как ты вся обкрадена
И вдоль и поперек...
Была бы только родина
Не сука и не гадина,
Тогда б я эту родину
До старости сберег!

Красавицей народною,
Душою благородною,
Такой тебя, о, родина,
Я сроду не видал...
Была бы только родина,
Свободной да счастливою,
Тогда бы эту родину
Никто не покидал!

ЛЕТЯТ ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ

Летят перелетные птицы
В весенней дали голубой,
Летят они с жаркого юга,
А я расстаюся с тобой,
А я расстаюся с тобою,
Родная моя сторона...
Плацдарм нынче нужен афганский
И Африка тоже нужна!

Залив захвачу я Персидский,
Напалмом спалю Пакистан,
Спасу из огня персиянку,

В дыму обниму ее стан,
Ее поматрошу и брошу
Под утро в морскую волну...
За дружбу и мир во всем мире
Веду я святую войну!

А будет брожение в Белграде,
Лежать будет Тито в гробу, —
Белград разбомблю и разграблю
И Загреб, взорвав, загребу,
Захватит германский товарищ
Прирейнскую всю сторону...
За дружбу и мир во всем мире
Веду я святую войну!

А доблестный остров Свободы
Со мною в едином строю
От Бостона до Сан-Франциско
Раздарит свободу свою,
Кастрирует Кастро заводы
И фермы заглохнут в плену...
За дружбу и мир во всем мире
Веду я святую войну.

Пускай поживут в нашей шкуре,
Марксизмом покормятся всласть,
Не будет ни хлеба, ни мяса,
Но будет прекрасная власть,
И будет чума и холера,
Свалю на евреев вину...
За дружбу и мир во всем мире
Веду я святую войну!

Вышла из печати

КНИГА-СПРАВОЧНИК

ЛЕОНИД КОСМАН

*/бывший доцент Московского института
иностранных языков/*

**1000 АМЕРИКАНСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ И ИХ
РУССКИЕ СООТВЕТСТВИЯ**

Книга-справочник содержит наиболее употребительные разговорные выражения американского варианта английского языка и их русские соответствия. Каждое выражение иллюстрируется типичным примером его употребления /на английском и русском языках/. Большая часть приведенных в книге идиом отсутствует в изданных до сих пор англо-русских словарях и разговорниках.

"Книга Леонида Космана... полезна и необходима не только тем, кто изучает язык, но и тем, кто думает, что уже его знает". /Людмила Кафанова, "Новое Русское Слово", 19 янв. 1980 г./

"Спасибо за Вашу замечательную книгу. Это как раз то, о чем я мечтала". /Из письма Даны Мерфи, переводчицы Джуиш Фэмили Сервис г. Цинциннати, штат Огайо/.

*Цена книги 6 амер. долл. 90 ц. + 1 долл. 70 ц.
за пересылку авиапочтой.*

**Чеки и международные мони ордер направлять:
10507 66th Road Apt. 6 E; Forest Hills, N. Y. 11375.
USA**



— ПУБЛИЦИСТИКА, ИСТОРИЯ
КРИТИКА

Я живу у реки по имени Итиль*...

Иосиф бен-Аарон, царь

Аркадий ЛЬВОВ

ГОСТИ ИЛИ ДРЕВНЕЙШИЕ ОБИТАТЕЛИ?

Науке известно немного народов и государств, история которых была бы так загадочна и запутана, как история Хазарского каганата. Более того, не только история, но и география одного из величайших государств раннего средневековья, вызывает ожесточенные споры. По мнению одних, Хазарский каганат простирался на тысячи километров с востока на запад, от Аральского моря до берегов Буга и Днестра, и на тысячи километров с севера на юг, от верховьев Дона до предгорий Кавказа.

По мнению других, он занимал лишь небольшую территорию в излучинах Дона и Волги, и роль его, как и территория, были совершенно незначительны.

По мнению последних, преувеличения, которые допускались в различных сочинениях отечественных, русских историков, определялись либо некритическим отношением к источникам, либо желанием умалить свое собственное прошлое и

* Итиль — Волга.

на место оскорбительной для национальной чести России нормано-варяжской теории поставить не менее — а по известным причинам, еще более! — оскорбительную хазарскую теорию.

Не входя в дискуссию, остановимся лишь на бесспорных фактах истории, которые сегодня уже никем не подвергаются сомнению, хотя до единства в толковании их еще весьма далеко.

Итак, на необъятных просторах юго-восточной Европы в середине седьмого века возникло мощное государственное объединение Хазарский каганат, правитель которого Булан в 730 году принял иудейство.

Факт этот из ряда вон выходящий, поскольку иудаизм, как известно, не только не приемлет прозелитизма, но и со всей прямотой и резкостью исключает его: богоизбранность — краеугольный камень еврейского национального самосознания, и, в отличие от других народов, евреи не только не обращали иноплеменников в свою веру, но и всячески оберегали чистоту своей религиозной среды.

Испанские евреи, современники Хазарии, настолько были поражены фактом существования на восточных окраинах Европы иудейского государства, что, вопреки известиям, которые приносили с далекого Востока хорасанские купцы, отказывались верить им. Более того, прибывали в Испанию, в Толедо, и купцы из самой Хазарии, однако и к ним зачастую относились как к сочинителям небылиц, хотя потребность верить у испанских евреев была безмерна: времена, когда евреи опекались халифами, уже миновали, и страхи повседневного сопутствовали еврею на каждом шагу.

В середине X века сановник кордовского халифа ученый еврей, финансист и дипломат, Хасдай ибн Шафрут, опираясь на сообщения византийских купцов, отправил царю Хазарии Иосифу бен-Аарону письмо с тремя десятками вопросов и настоятельной просьбой дать ответ на них. "Когда они /"уцелевшие от меча" — евреи в Испании/ услышали о моем господине /Иосифе Хазарском/, о мощи его царства и множестве его войск, они пришли в изумление. Через это мы подняли

голову, наш дух ожил и наши руки окрепли. Царство моего господина /Хазарского кагана/ стало для нас оправданием, чтобы раскрыть смело уста. О, если бы эта весть получила бы еще большую силу, так как благодаря ей увеличится наше возвышение”.

Первая попытка доставить письмо царю окончилась неудачей: христианский император Византии, к которому прибыл посланец Хасдая Исаак бен-Натан, ссылаясь на трудности — а на самом деле, просто не желая содействовать контактам испанских и хазарских евреев! — отказался передать письмо. Вскоре, однако, подвернулась другая оказия: в Кордову прибыло посольство из Германии, в составе которого было два еврея, и эти последние обеспечили передачу письма через Венгрию, Русь, Болгарию.

Хасдай получил от царя Иосифа пространный ответ на иврите — традиционном для ученых евреев средневековья языке. Иосиф сообщал, что царство его простирается на четыре месяца пути на восток и два месяца — на запад, на южной окраине страны ему подвластны пятнадцать народов, на западной окраине располагаются цветущие города: Саркел, Керчь, Судак, Алушта, Алупка, Гурзуф; сам он живет в столице Итиль, город его, точнее, домен /на древнееврейском языке город означал область, округу/ занимает площадь в 50 на 50 фарсахов, примерно 300 на 300 километров. Страна наша, сообщал Иосиф, богата реками и рыбой, земли наши покрыты цветущими садами и виноградниками. “С месяца Нисана /апреля/ мы выходим из города. Я и мои князья и рабы идем и передвигаемся на протяжении 20 фарсахов пути, пока не доходим до большой реки, называемой Б-д-шан /Кума/, а оттуда идем вокруг нашей страны, пока не придем к концу нашего города без боязни и страха; в конце месяца Кислева /в ноябре/, во дни праздника Ханука мы приходим в наш город”.

Естественно, это многомесячное передвижение царского двора не было простым променадом, а определялось надобностями скотоводства: тысячные стада и табуны перемещались по всей стране, с пастбища на пастбище. Забота о скоте

была не только заботой о хозяйственном благополучии, но и о военном могуществе, ибо конница составляла основную ударную силу хазарской армии.

Иосиф был тринадцатым иудейским царем на хазарском престоле. Его предшественниками, начиная с Обадии, который утвердил иудаизм как государственную религию и создал широкую сеть еврейских школ, были Езекиил, Манассия, Ханукка, Исаак, Завулон, Моисей, Нисси, Аарон I, Менахем, Вениамин и Аарон II.

Существуют разные версии происхождения хазарского иудаизма. Сам Иосиф рассказывает, что его род происходит от Тогармы, сына Иафета. В древнееврейской литературе Тогаром именовали все тюркские народы. Другая же версия, по письму хазарского еврея, известного в науке как “Кембриджский аноним”, утверждает, что бежавшие в Хазарию евреи породнились с хазарами, и один из военачальников, под влиянием жены своей Серах и ее отца, вернулся к религии предков. Булан, первый князь, принявший официально иудаизм, нарекая еврейским именем Сабриель и предпринял грандиозный поход в Ардебиль /Азербайджан/, чтобы добыть средства, необходимые для строительства синагоги.

Можно предположить, что часть хазар, особенно со времен Обадии, действительно приняла иудаизм. Это тем более правдоподобно, что, в зависимости от военно-политической ситуации, жители и даже правители, во всяком случае в VIII веке, меняли религию, однако не вызывает никакого сомнения, что основная часть населения, исповедывавшая иудаизм, была представлена собственно евреями, по утверждению некоторых источников, Исахарова колена.

Религиозные диспуты, которые устраивались царями между раввинами, муллами и попами, не меняют существа дела, хотя, по преданию, правители Хазарии якобы пытались таким путем установить истину и, в конце концов, соблазнились чисто политическим расчетом: чтобы не зависеть от мусульманского Багдада и христианской Византии, приняли иудаизм. Все эти умозаключения, которые и поныне бытуют в историографии, представляются, по сути, лишь простой иг-

рой ума, потому что иудаизм едва ли способствовал политическому укреплению каганов и каган-беков. Во всяком случае, каганам, которые обеспечили своим подданным невиданную в условиях средневековья веротерпимость, неоднократно приходилось силой водворять порядок в среде христиан и мусульман. Излишне добавлять, что и багдадские халифы, и византийские императоры не раз норовили использовать своих единоверцев в войнах с каганатом.

Таким образом, мы вновь возвращаемся к нашему главному тезису: хазарские иудеи в массе своей были евреями. Возникает, однако, вопрос: откуда же взялись здесь, на берегах Волги, Дона, Кубани, Терека, евреи в эпоху великого переселения народов, за много веков до монголо-татарского нашествия, когда кроилась и перекраивалась здешняя этническая карта?

Известно, что в первых веках нашей эры на Тамани и Керченском полуострове, в Босфорском царстве, существовала большая еврейская колония. Известно также, что в начале седьмого века, при императоре Ираклии, а спустя сто лет, при великом гонителе иудеев императоре Льве II Исавре, массы евреев покинули Византию и устремились в Хазарию. Однако крупнейший еврейский погром при Льве Исавре произошел в 723 году, а князь Булан принял иудейство лишь в 730 году, да и то не сделал его государственной религией. Стало быть, не иудаизм Хазарии привлекал их. Что же?

Ответ звучит несколько неожиданно: евреи бежали к евреям. К тем евреям, которые к этому времени уже были старожилками Северного Кавказа, старожилками Дагестана, где первоначально находились столица Хазарии цветущий Семендер и город-крепость Беленджер. Жили здесь евреи, по крайней мере, с VI века, и о них подробно рассказывает Эльдад Гадади: "Они ни с кем не воюют, кроме войны из-за Торы, то есть в прениях о законе. Живут они в покое и спокойствии, нет у них ни помех, ни злых приключений. Занимают пространство десяти дней в длину и ширину. У них много скота, и никто из них не совершает преступлений. Соседями их суть народы, поклоняющиеся огню и женящиеся на своих матерях, дочерях

и сестрах. Они не имеют хлебопашцев и покупают все за деньги".

Каким образом евреи оказались в Дагестане, это вопрос особый, который уводит нас в глубь веков (в частности, истории Ирана), далеко отстоящих от того времени, о котором идет речь. На север же, к Волге, они продвигались в VII — VIII веках вместе со всей массой хазар, которым приходилось вести беспрестанно войны с полчищами арабов, разорявших и обескровливавших земли Кавказа.

ХАЗАРСКИЙ ЦИТ

Знания наших современников, закончивших курс в советской средней школе, коль скоро заходит речь о хазарах, сводятся к блистательной пушкинской строфе: "Как ныне собирается вещей Олег отмстить неразумным хазарам, их села и нивы за буйный набег обрек он мечам и пожарам..."

Стихи, однако, есть стихи, и едва ли по ним можно изучать историю, даже если эти стихи принадлежат величайшим отечественным поэтам.

Менее всего подходит хазарам эпитет "неразумный", с какой бы позиции его ни рассматривать: военной, просветительской или просто житейской. На границе IX — X веков Хазария представляла собою мировую державу, под стать Византии и Багдадскому халифату. Правда, могущество ее в это время уже клонилось к упадку, однако армия ее была еще достаточно сильна, чтобы отразить натиск печенегов и разгромить мощное войско алан.

Действовать иудейской Хазарии приходилось в исключительно сложной международной обстановке, когда соседние народы, всячески подзуживаемые Византией, норовили поживиться за счет хазарских богатств. Задолго до крестовых походов, христианнейшие правители Византии широко использовали лозунги религиозной войны, поднимали на священную войну против каганов христиан Готской епархии в Крыму, хотя религиозная политика хазарских царей, по общему признанию и современников, и теперешних исследователей самых

различных толков, отличалась невиданной веротерпимостью. Инициатива религиозных преследований никогда не исходила от хазарских властей. Лишь в 932 году, после разгрома алан, натравленных на каганат Византией, была изгнана из страны церковно-христианская агентура, которая призывала людей греческой веры к борьбе с иудейской властью.

Такой же терпимостью было отмечено отношение каганата и к мусульманам, которых было в Хазарии много больше, чем христиан. Лишь однажды, после разгрома, по наущению арабов, синагоги в Дар-ал-Бабундже, власти пошли на ответные репрессии — разрушение минарета соборной мечети в Итиле и казнь муэдзинов.

Поразительным для средневековья представляется и факт из истории последних десятилетий каганата, когда преследования евреев при Романе Лекапине привели к массовому их бегству из Византии в Хазарию, но не вызвали волны ответного террора против христиан в каганате.

Нет никаких исторических свидетельств и в пользу того, что каганат относился жестоко к своим данникам, в частности, к славянским племенам. "Повесть временных лет", /859 год/ сообщает, что поляне, северяне, вятичи платили дань хазарам, позднее данниками стали и радимичи. Дань, однако, не была непосильной — по белке и монете с дыма.

Впоследствии в памяти народной произошла известная трансформация, о хазарском господстве вспоминали былины "О Козарине, или Жидовине", с которым сражаются русские богатыри Илья Муромец и Добрыня, однако опять-таки никаких рассказов об ужасах былого ига там нет и в помине, есть лишь образ грозного, сильного врага.

Контакты славян с хазарами в IX — X веках становятся настолько интенсивными и тесными, что ряд узловых эпизодов являются общими для тех и других.

Прежде всего Хазарский каганат представлял собою первое в Восточной Европе феодально-государственное объединение с твердым, характерным для средневековья, порядком престолонаследия: чужой, по словам царя Иосифа, сидеть на престоле не мог, власть передавалась от отца к сыну. Русы, по

сообщению арабского историка Масуди, состояли на службе у кагана — и в его гвардии, и на разных работах при дворе — и, естественно, хорошо были осведомлены об этом.

Идея верховной единой власти, задолго до того, как она реализовалась в жизни Киевской Руси, несомненно, существовала в умах не только князей, но и простого люда. Речь идет о тех же полянах, северянах, вятичах, радимичах, которые десятилетиями пользовались благами мира, возможными лишь при сильной центральной власти. Что же такое мир для торговли и ремесел, говорить не приходится. И нет никакого сомнения, что быстрое становление Руси в IX—X веках в огромной, не вполне еще исследованной и оцененной мере было связано с существованием Хазарского каганата — мировой державы с сильной центральной властью, мощного щита, о который разбивались и орды восточных кочевников, и могучие полчища арабов.

Войны каганата с халифатом шли с переменным успехом, однако даже в 735 году, когда арабский полководец Мерван прошел со своей 150-тысячной армией чуть не всю Хазарию, каганат не только не стал вассалом багдадского халифа, но в течение буквально нескольких лет восстановил свое былое могущество и стал наносить ответные удары. Не надо обладать большим воображением, чтобы представить себе, какова была бы судьба восточных славян, не оказавшись на пути арабов, дороги которых в Закавказье были отмечены морями крови и пожарищами, великого хазарского щита.

Правда, в X веке ситуация уже существенно переменялась: русы сами совершали опустошительные набеги на своих южных и восточных соседей, и в письме к Хасдаю ибн Шафруту царь Иосиф говорит: "Если бы я оставил их в покое на один час, они уничтожили бы всю страну измаильтян до Багдада". В словах этих содержится известное преувеличение, однако походы русов на Каспий в 913 году и на Берда в 943 — 44 года /хотя последний, поначалу удачный, закончился разгромом русов мусульманскими полками каганата/ безусловно были свидетельством быстрого и неуклонного роста их силы. По мнению некоторых историков, "рус" в те времена не было

этническим понятием, а военным, и означало, дружинник, однако то обстоятельство, что в поход, пусть даже без четкой политической цели, а лишь с разбойной программой, отправлялось войско на сотнях и даже тысячах судов, говорит само за себя, ибо сильное войско может выставить только сильный народ.

Нападали русы и на хазарские селения, захватили они и город Самкерц /Тмутаракань/, однако не надолго: вскоре хазарские полки под командованием Песаха разгромили отряды Хельгу и подчинили себе русов.

К началу 60-х годов каганат, однако, настолько ослабел, что не мог уже противостоять натиску славян, и в 965 году Святослав Игоревич с помощью гузов овладел крепостью Саркел и столицей каганата Итилем. Власть славян, впрочем, была недолгой: в 977 году Итилем овладел Хорезм и обратил население в мусульманство.

Причины столь стремительного и резкого ослабления каганата не вполне ясны. Существуют различные теории, и одной из наиболее интересных представляется теория советского археолога Льва Гумилева: трансгрессия, то есть наступление на сушу Каспийского моря на, три четверти сократила волжские земли каганата, составлявшие ядро государства, и предопределила роковую его слабость.

Культурное и политическое влияние Хазарии на Русь не вызывает сомнения у большинства историков. Достаточно указать хотя бы на тот факт, что многие славянские земли, находившиеся под эгидой каганата, составили впоследствии ядро Киевской Руси, а киевские князья в X—XII веках назывались, как прежде хазарские цари, каганами. В "Слове о полку Игореве" каганом назван Олег Святославович. В Софийском соборе, в Киеве, сохранилось граффити XI—XII веков: "Спаси, господи, кагана нашего". В советской историографии этот официальный титул, когда речь идет о киевских князьях, практически изъят из обихода.

Какова дальнейшая судьба хазар? Несомненно, часть их смешалась со славянами. Смешивались ли оседлые хазары с кочевниками-половцами, трудно сказать, хотя то обстоятельство,

что сыновья известного половецкого хана Кобяка были наречены еврейскими именами Исай и Даниил, дает простор для далеко идущих заключений.

Тмутаракань оставалась хазарско-еврейским городом еще в конце XI века: в 1079 году здесь был пленен князь Олег Святославович Тмутараканский. В XII веке дербентские хазары упоминаются грузинской летописью. Плано Карпини, который побывал на Северном Кавказе, упоминает хазар-иудеев в 1245 году. Несомненно связь с хазарами так называемых бродников, которые с XII века разместились в низовьях Дона. Это был народ со смешанным тюрко-семитским типом лица, исповедывавший, по утверждению Гумилева, православие и говоривший по-русски. Любопытно, однако, что современники никогда не смешивали их с русскими. С XVI века бродники стали именоваться казаками, ближе к нашему времени донскими, как и беглые из Московского государства крестьяне, которые находили здесь пристанище.

Возможно, потомками хазар являются и караимы, часть которых осела в Крыму и сохранилась до наших дней, а другая часть была вывезена в конце XIV века в Литву великим князем Витовтом.

Гибель Хазарии, превращенной ордами гузов, союзников Святослава, из цветущей страны в пустыню, была трагедией и для славян, поскольку открыла дорогу в русские земли печенегам, половцам, а впоследствии ордам монголов.

СВЕТЛЫЙ МЕТЕОР НА МРАЧНОМ ГОРИЗОНТЕ ЕВРОПЫ

Первые упоминания о хазарах восходят к древнейшему русскому источнику — "Повести временных лет". Конкретно перечисляются славянские племена — поляне, вятичи, северяне, радимичи, — которые были данниками хазар, по киевскому преданию, народа не жестокого и не воинственного, мягкого, однако подробных описаний летопись не дает. Факт этот легко объясняется тем обстоятельством, что, несмотря на свою древность, "Повесть временных лет" создавалась в то время, когда Хазария уже сошла с исторической арены. Па-

мять народная сохранила предания о хазарах в знаменитой былине "О Козарине, или Жидовине", которая хотя и не является историческим сочинением в собственном смысле слова, однако дает богатый материал для воссоздания древнейшего периода российской истории.

Опуская имена выдающихся армянских историков Моисея Хоренского, Анания Ширакаци, Моисея Каганкатваци, Степана Таронского, которые оставили обильный материал о хазарах и могли бы, учитывая нынешнюю географию СССР, быть отнесены также к отечественной историографии, перейдем непосредственно к тому времени, когда в России история стала складываться как особая отрасль знания, как наука, в которой все сведения должны быть строго документированы и обоснованы.

Хотя хазарология, как самостоятельная область российской историографии, возникла лишь в XIX веке благодаря трудам выдающегося востоковеда Григорьева, однако хазарская проблема поднимается уже в трудах Байера, который впервые познакомил ученый мир с замечательным историческим сочинением "Дербенд-намэ", содержащим обильные сведения о хазарах. К стати, экземпляр последнего в 1723 году был поднесен Петру I.

Крупнейший историк петровского времени Василий Никитич Татищев в своей пятитомной "Истории Российской", ссылаясь на русские и византийские источники, отводит пространное место хазарам. Описание его настолько красочно, что, вместо пересказа, имеется прямой резон дать оригинальный текст: "Козари... особых владетелей, или каганов, имели, и до пришествия Оскольда или Олега в Киев всею оною страною владели. ... Святослав I, все их грады по Бугу и Днестру разоря, до Дуная обладал. При нем и после многое число их в Русь переведены и по разным городам поселены, частью сами, от печенег терпя или для сохранения жидовства, в Русь переселились... и до нашествия татар их часто вспоминают; однако же от их жидовства в Киеве по смерти Святополка II учинилось великое смятение, многих побили, для которого Владимир II закон на сейме 1126 года сделал: всех жидов вы-

гнать и впредь в Русь не впускать, которое доднесь хранится".

Известно, что перед еврейским погромом, о котором рассказывает Татищев, в Киеве издавна существовал особый еврейский квартал, ремесленники и купцы-иудеи играли в жизни города самую активную роль. И неудивительно, что уже в те далекие времена возникла необходимость отрегулировать в рамках права отношения между христианами и евреями. Одно из наиболее ранних своих выражений это нашло в так называемом "правиле" митрополита Иоанна /1086-1089 гг./: "Крестьяна-человека ни жидовину, ни еретику продати". Однако в те времена, видимо, нередко имели место нарушения этого запрета, и митрополит Иоанн предлагал карать виновных отлучением от церкви, что было, по тогдашним представлениям, весьма суровым наказанием.

В XIX веке интерес к хазарам растет с необычайной быстротой. Много писал о хазарах в "Истории государства Российского" выдающийся русский писатель и историк Карамзин. Вслед за ним выступил со своими исследованиями Эверс, впервые выдвинувший хазарскую теорию происхождения Руси. В те же годы трудами видного лингвиста и историка Бичурина вводятся в обиход китайские источники о хазарах, до тех пор неизвестные в России.

Любопытно, что во всех тогдашних работах, независимо от личного отношения авторов к евреям, сам факт огромной, а для определенного времени решающей роли их в жизни Хазарин, не вызывал сомнения. Петербургский историк Лерберг, немец по происхождению, которого немало изумляло то обстоятельство, что хазары могли, по его словам, прельститься иудейскою верою, со всей прямоотой, однако, утверждает, что в VII веке "... сей ... народ выходит заметным образом на поприще истории". В его же труде, пожалуй, впервые в русской историографии, переводится название крымского Джуфут-кале как "Жидовский город". И снова, в этот раз со ссылкой на арабского историка Хаукаля, подчеркивается: "Меньшая часть жителей сея земли жиды, большая мослемины и христиане, но царь и его вельможи — жиды".

Как ни много внимания упомянутые авторы уделяли Хаза-

рии, подлинным основателем российской хазарологии явился, повторяем, Григорьев, автор блестящих исследований "О двойственной верховной власти у хазаров" и "Обзор политической истории хазаров". Наиболее законченную оценку Хазарии он дал в своем труде "Россия и Азия": "Необыкновенным явлением в средние века был народ хазарский. Окруженный племенами дикими и кочующими, он имел все преимущества стран образованных: устроенное правление, обширную, цветущую торговлю и постоянное войско. Когда величайшее безначалие, фанатизм и глубокое невежество опаривали друг у друга владычество над Западной Европой, держава Хазарская славилась правосудием и веротерпимостью, и гонимые за веру стекались в нее отовсюду. Как светлый метеор ярко блистала она на мрачном горизонте Европы и погасла, не оставив никаких следов своего существования".

Забегая немного вперед, заметим, что заключительные слова Григорьева звучат слишком пессимистически: новый свет на историю хазар пролили археологические и исторические исследования последних десятилетий. Однако и они явно недостаточны. Впечатление, которое оставляют новейшие работы в этой области, таково, что требуется не только дальнейшее накопление фактов, а коренное изменение самой линии поисков, которая теснейшим образом связана со всей историей восточно-европейского еврейства. Хазария скотоводов, Хазария виноградарей, Хазария ремесленников и купцов — часть души ее, несомненно, унесли с собою все те народы, которые шли через ее земли с востока на запад и осели, в конце концов, в центре Европы.

Во второй половине XIX века Хазария привлекла внимание крупных русских историков Успенского, Васильевского, выдающегося гебраиста Гаркави. Исключительная роль Хазарии в истории Руси признается большинством исследователей, включая крупнейшего представителя русской пореформенной историографии Василия Осиповича Ключевского. "... хазарское иго, — писал он в своем Курсе русской истории, — не было для днепровских славян не особенно тяжело и нестраш-

но. Напротив, лишив восточных славян внешней независимости, оно доставило им большие экономические выгоды. С тех пор для днепровцев, послушных данников хазар, были открыты степные речные дороги, которые вели к черноморским и каспийским рынкам. Под покровительством хазар по этим рекам и пошла бойкая торговля из Днепровья. ...Нумизматическая летопись наглядно показывает, что именно в У111 веке возникла и упрочилась торговля славян днепровских с хазарским и арабским Востоком. Но этот век был временем утверждения хазар в южно-русских степях... Следствием успехов восточной торговли славян, завязавшейся в УIII веке, было возникновение древнейших торговых городов на Руси". Попутно заметим, что к этому же времени, УМ! веку, Ключевский относит и усиление еврейского влияния в каганате, которое, по его словам, было так велико, "что династия хазарских каганов со своим двором, то есть высшим классом хазарского общества, приняла иудейство".

Итак, даже самый беглый обзор российской дооктябрьской историографии свидетельствует, насколько велик был интерес виднейших историков к Хазарии и ее особой роли в становлении российской государственности. И хотя многие из этих ученых отнюдь не были юдофилами, их национальные пристрастия, в большинстве случаев, нисколько не препятствовали объективной оценке важнейших исторических фактов.

НАЦИОНАЛ-БОЛЬШЕВИКИ: ИУДАИЗМ ЗАГУБИЛ ХАЗАРИН

Имея, бесспорно, большую самостоятельную ценность, хазарология в советской историографии одновременно представляет собою ярчайший пример того, как события и факты, хотя бы даже самого далекого прошлого, становятся актами, отмеченными всеми признаками политической злободневности. Хазарская проблема из чисто научной превратилась в проблему остронациональную, проблему текущей политики и, в зависимости от общей партийной установки в каждый конкретный период трактовалась — или вообще

изымалась из научного обихода! — история Хазарии, ее место в становлении России, вплоть до того, что, вопреки всякой очевидности, вопреки хрестоматийным фактам, само существование Хазарской империи, как таковой, не только ставилось под сомнение, но, по сути, отрицалось.

В двадцатые годы, когда широко цитировались ленинские слова о царской России как тюрьме народов, когда история малых народов СССР трактовалась еще более или менее объективно и слово "нацмен" не обрело еще оттенка некоей человеческой и гражданской неполноценности, видный востоковед Пархоменко опубликовал свою знаменитую работу "У истоков русской государственности /VIII — IX/", в которой, в противовес приверженцам нормано-варяжской теории, приписывал хазарам решающую роль в сложении Русского государства.

Не только столичные, но и периферийные ученые уделяли истории Хазарии в те годы серьезное внимание. Откликаясь на просьбу своих саратовских коллег, бакинский историк Ольшанецкий в "Известиях общества обследования и изучения Азербайджана" /№5, 1928 г./ писал: "Можно положительно утверждать, что материальная культура в древней Хазарии была создана евреями". Развивая свою мысль, он обращает внимание на известный факт: "Еврейские ремесленники работали в городах всего татарского государства уже в XIII столетии." Ткацкое искусство мастеров парчи сефардов ибн-Джауда, Якова, Иосифа было известно далеко на Востоке. В XII веке болгарский инженер еврей Нарон построил в Ани, столице Армении, водопровод. Татарская керамика тех лет напоминала сочетаниями тонов итальянскую, особенно из Ломбардии, и острова Мальорки, где наиболее прославленными керамистами в те времена были еврейские мастера.

В 1932 году академик Коковцев, в завершение многолетних исследований, которые он начал еще задолго до Октября, опубликовал свой фундаментальный труд "Еврейско-хазарская переписка в X веке". В книге, изданной Академией Наук СССР, Коковцев приводит краткую и пространную ре-

дакции письма царя Иосифа в оригинале, на древнееврейском языке, и в своем переводе на русский язык. Впервые текст пространной копии, найденной в собрании рукописей караима Фирковича в Крыму, был опубликован гебраистом Гаркави в 1876 году, однако, широкому кругу историков стал доступен лишь после выхода в свет книги Коковцева, который снабдил все свои переводы, включая и письмо Хасдая царю Иосифу, обширными комментариями.

Работа Коковцева явилась выдающимся вкладом не только в русскую советскую историографию, но и в мировую науку, поскольку на протяжении трех столетий, начиная с Буксторфа /XVIIвек/, среди ученых мужей всевозможных толков отнюдь не редкостью были стремления доказать, что вся еврейско-хазарская переписка является, якобы, подделкой испанских евреев. Даже в 1937 году, уже после изысканий Коковцева, предпринимает, хотя уже безо всякого успеха, запоздалую атаку француз Грегуар.

В 1936 году выходят в свет "Очерки древнейшей истории хазар", автор которых, тогда еще молодой ученый, а ныне один из ведущих хазарологов мира Михаил Артамонов, впервые со всей откровенностью формулирует национально-политический аспект проблемы: "Как было русскому шовинизму примириться с политическим и культурным преобладанием Хазарии, выступающей в качестве государства, почти равного по силе и политическому значению Византии и Арабскому халифату, в то время как Русь еще только выходила на историческую арену и то в роли вассала Византийской империи... Хазарское государство, объединявшее громадную часть нашей страны, конечно, не прошло бесследно... Хазарское государство нельзя не учесть, как важнейшее условие образования Киевской Руси..."

Последней уже, увы, не ко времени /поскольку в советской официальной идеологии явно набирали силу великодержавные национал-большевистские настроения/ апологией Хазарии явилась книга Мавродина "Образование древнерусского государства", вышедшая в 1945 г. "...Из городков Донца и Дона, — говорит автор, — шли на север, к славянам, не толь-

ко воины за данью, но и товары, предметы ремесленного производства и т. п. Отсюда распространялись на юге Руси навыки ремесленной выучки, начатки специфически хазарской, восточной культуры... Поляне, жители Киевской земли, платили дань хазарам и, быть может, в "крепости" Киева стоял хазарский гарнизон, как это было в Саркеле." Далее Мавродин безо всяких околочностей говорит об "огромной роли в истории русского народа того отрезка его исторического пути, который он прошел совместно с другими народами... в составе Хазарской державы, под властью Хазарского каганата".

В 1949 году выходит в свет новое, исправленное и дополненное издание фундаментального исследования академика Грекова "Киевская Русь", позднее удостоенного Сталинской премии. В соответствии с новыми партийными установками академик Греков, крупнейший историк-славист, просто-напросто исключил из научного обихода проблему Хазарии, отведя ей в своей книге объемом более полутысячи страниц едва ли одну полную страницу.

С яростной атакой обрушилась на космополитов "Правда", в которой некий Иванов, совершенно неизвестный в ученом мире, высек хазаролога Артамонова в статье с типичным для того времени названием: "Об одной ошибочной концепции". Спустя месяц, в январе 52-го года Артамонов подвергся новой атаке со стороны Ленинградского университета, опубликовавшего в своих ученых записках статью Яковкина "Правильно освещать историю нашей Родины".

Не опускаясь до уровня бранных окриков Иванова и Яковкина, видный советский археолог Рыбаков выступает с рядом работ, в частности в журнале "Советская археология" / книга XVIII, 1953г./, в которой практически отрицает всю предшествующую хазарологию, ограничивает территорию Хазарии крошечным треугольником между средним течением Дона и излучиной Волги, именует Хазарию чисто паразитарным государством и, в соответствии с тогдашней партийно-правительственной догмой русского приоритета, объявляет, что русские оказали огромное влияние на хазар, в частности,

последние даже заимствовали у них, будто бы, свое письмо. Все это утверждалось без обиняков, хотя даже ученик начальной школы в те дни не мог не знать имен болгар Кирилла и Мефодия, принесших славянскую письменность на Русь в IX веке, то есть незадолго до гибели Хазарского каганата, который к этому времени имел уже более чем двухсотлетнюю свою историю, записанную, как сообщает царь Иосиф, в книгах. В своем порыве свести к полному нулю всю историю Хазарии Рыбаков объявил неосновательными и сведения о славянских племенах — данниках Хазарии, сообщаемые "Повестью временных лет".

В 60-е годы, в связи с общей переменой научного климата в СССР, хазарология вновь обретает свои гражданские права. Выходит ряд новых работ, среди которых, в первую очередь, следует назвать "Историю хазар", выдающееся международное класса исследование Артамонова, которому автор посвятил более четверти века. Книга вышла небольшим тиражом, 3000 экземпляров, ее можно найти в фондах многих университетских и научных библиотек мира, в Советском же Союзе она стала библиографической редкостью буквально со дня своего рождения.

Вслед за Артамоновым выпустил свою книгу "Открытие Хазарии" Гумилев, который впервые выдвинул знаменитую теорию падения каганата вследствие трансгрессии, то есть наступления на сушу, Каспийского моря, которая привела к гибели наиболее плодородные земли страны и вследствие этого к полному запустению.

Совсем уже недавно, в 1976 году, издательство "Наука" опубликовало в научно-популярной серии книжку "Хазары" Плетневой, заведующего сектором славяно-русской археологии Академии Наук СССР; ответственный редактор издания — академик Рыбаков, тот самый, о котором шла речь выше.

Во всех названных сочинениях Хазария вновь является нашему современнику в ореоле своей имперской славы и величия, ее выдающаяся роль в становлении русской государственности не подвергается сомнению. В деталях, иногда весьма существенных, позиции авторов расходятся, но в

одном они вполне едины: Хазарию загубило иудейство, поскольку народные массы не приняли его и не могли принять, как нечто совершенно чуждое, в то время как христианство, мусульманство и даже язычество были несравненно ближе им. Даже Гумилев, вопреки собственной теории трансгрессии, делает этот сакраментальный вывод: иудейская верхушка империи была обречена на отрыв от народа и, в конечном итоге, на гибель. Святославу и его союзникам гузам досталось претворить в жизнь веления истории: добить иудейский каганат Хазарию.

* * *

Тени забытых предков тревожат наше воображение. В сутолоке дня, в бессонные часы долгих дорожных ночей необоримая сила понуждает нас оглянуться назад, чтобы понять себя, найти себя через отцов и пращуров наших, вытравленных, казалось, партийными властителями и владыками навсегда из нашей памяти.

Евреи покидают Россию. Вопреки всем прогнозам, вопреки всем усилиям властей прекратить или хотя бы замедлить великий исход целого народа, исход продолжается с нарастающей силой, и число беглецов измеряется уже сотнями тысяч.

Кто же были мы там, на Руси: случайные, временные гости или древнейшие ее обитатели?



Леонид ГЕЛЛЕР

СОБАЧЬИ ВРЕМЕНА

Мысли о будущем человечества иногда вселяют тревогу. В одной из книг американского писателя-фантаста К. Саймака бородатые псы-сказители декламируют собравшимся вокруг костра юным собакам обрывки преданий о некогда живших на земле людях. В рассказе английского писателя-фантаста У. Тенна новую цивилизацию после великой катастрофы — естественного вырождения человеческой расы — создает особо выносливая порода ньюфаундлендских собак.

Мрачная антинаучная фантастика? Но есть книги, где прямо сказано: не нужно фантазировать. Наш счастливый век — и есть собачье время. Уже сейчас на любимой планете хозяйничает не ее покоритель и преобразователь, а вскормленная и воспитанная им Собака. Правда, мало похожая на добродушных цивилизованных псов из научно-фантастических рассказов.

Как раз о таких книгах пойдет речь. Точнее: о двух произведениях, в которых образ собаки — ключевой. В обоих

произведениях говорится о вполне реальных собаках, а в то же время, и тут и там Собака — символ. На нее спроецирован страх человека перед своим настоящим, а значит, — и перед будущим.

Эти книги:

"Верный Руслан" Георгия Владимова, блестящая по сжатости и литературной меткости характеристика сталинского режима, повесть, которую смело можно поставить в ряд лучших книг советской послевоенной неподцензурной литературы.

"Собачьи годы" Гюнтера Грасса, один из известнейших романов послевоенной немецкой литературы, хроника жизни в тени свастики. Грасса плохо знают в СССР, хотя других западногерманских писателей в 70-е гг. стали переводить. Но на Западе он — знаменитость. Только что по всей Европе прошумел фильм, получивший премию в Каннах и поставленный по знаменитому первому роману Грасса "Жестяной барабан" /фильм и был толчком к написанию этой статьи/. Про Грасса же, автора "Собачьих лет", говорят, что "среди всех поэтов его поколения, лишь ему в своей эпопее удалось, объединив трезвый взгляд и мужество большого художника, отождествить себя с судьбой немцев во всем ее мраке, жестокости и непоправимом трагизме" /слова французского критика П. Равика/.

"Собачьи годы" и "Верный Руслан" стали известными в разное время, но написаны они были почти одновременно: первая — в 1962-63 гг., вторая — в 1963-65 гг.

Повесть Владимова — история караульной собаки, оставшейся без работы после закрытия лагеря и погибшей, пытающейся вернуть прошлое, — всем знакома. Кроме того, существует подробный и глубокий ее анализ в большой статье А. Синявского "Люди и звери" /"Континент" №5/. Многое из того, что хотелось бы сказать, там уже сказано. Поэтому не буду давать изложения и последовательного разбора повести. Она послужит мне фоном для разговора о книге Грасса.

Начнем с того, что "Собачьи годы" — огромный роман,

страниц на семьсот, в четыре раза длиннее "Руслана". Слово "эпопея" уже произнесено, оно не вполне точно определяет жанр книги, но эпическое начало в ней очень сильно — в стиле, в широте замысла, в подходе к теме, в построении повествования, которое охватывает полстолетия, а в воспоминаниях, ссылках и скобках включает чуть ли не всю немецкую историю.

В отличие от повести Владимова, в центре сюжета не звери, а люди: два персонажа, связанные полувековой дружбой. Их зовут Вальтер Матерн и Эдди Амзель. Матерн рожден 20 апреля /в день рождения Адольфа Гитлера/. Он умеет ужасающим образом скрипеть зубами /Гитлер в злобе скрежетал зубами/. У него дома — породистая немецкая овчарка /Гитлер обожал немецких овчарок/. Наполовину еврей Амзель — гениальный художник. Между прочим, он делает для окрестных огородов почти живые артистические пугала, которых панически боятся все птицы без исключения. Матерн и Амзель родились в 17-м году около Данцига /где родился сам Грасс/. Они дружат, ходят в школу, растут и наблюдают, как растет и побеждает нацизм. Героев исключают из районного спортклуба: Амзеля за происхождение, Матерна за дружбу с евреем. Начинается новая эпоха. Человек меняет кожу. Амзеля зверски избивают штурмовики СА, среди которых и его старый друг Матерн, бывший член молодежной коммунистической организации. Амзель исчезает, меняет фамилию, делается директором балета, а после войны — бизнесменом, истинным автором "немецкого чуда" — воскрешения Германии. В жизни Матерна: алкоголизм, исключение из СА, фронт, ранение, тыловая служба, суд за неблагодарные речи. Послевоенные годы он посвящает тому, чтобы разыскать виновников трагедии Германии и отомстить им. Он находит их фамилии на испещренных надписями стенах уборной кельнского вокзала. Но после осуществления "немецкого чуда" сортиры хранятся в образцовой чистоте, и Матерн бежит в страну свободы — Восточную Германию. По дороге он передумывает и в финале романа встречается с Амзелем, который снова переименовав фамилию, основал фабри-

ку для массового изготовления чучел-автоматов. Кажется, они призваны заменить собой людей.

С главными героями связаны еще три персонажа — младшего поколения /сверстники Грасса/: Гарри, примерный мальчик, член Гитлерюгенд, не знающий сомнений в правоте фюрера; Тулла, убежденная фашистка, антисемитка и доносица; Дженни, скрыто настроенная против режима, танцовщица в балете Амзеля.

Параллельно людским перипетиям протекает величественная история династии немецких овчарок. В обозримые времена начинается она с Перкуна, который породил Сенту /принадлежавшую отцу Матерна/. Она породила Харраса /принадлежавшего отцу Гарри/, от которого родился Принц, творивший Историю людей. Он был подарен в день рождения Адольфу Гитлеру и выступил перед всей Германией в кинохронике. За несколько дней до самоубийства хозяина Принц бежит от него к американцам, показывая путь всем немцам, и под новым именем Плуто становится спутником Матерна и мстителем за позор Германии.

Изложение получилось длинноватое, но в него не вместились и десятой доли того, о чем рассказано в "Собачьих годах". Восстановить сюжет очень трудно, настолько он запутан, извилист, столько в нем переплетающихся фабульных линий. Постоянные отступления, вставные новеллы, нарушения хронологии событий мешают поступательному движению сюжета. Добавим сюда стиль Грасса. Нагнетание атмосферы в ущерб развитию характеров и действия. Смена конвенции — то реалистический рассказ, то фантастика немного в духе Гоффмана.

Смена масштабов описания — то размашисто набросанные полотна с далекой перспективой, то миниатюрные жанровые картинки. Смещение планов: незначительному уделяется пристальное внимание, а самое существенное происходит где-то на заднем плане и еле улавливается — читатель должен многое додумывать сам. Стилиевые контрасты: эпический тон перебивается дотошным перечислением мелких бытовых подробностей, торжественно докладывается о смехотворных

происшествиях. Разнообразие языковых средств — от немецко-польского диалекта обитателей данцигской Прибалтики до философского жаргона берлинской интеллигенции. Рассказ ведется от лица трех разных персонажей, и соответственно меняется и стиль, и язык, и точка зрения.

Единство повествования при всем этом сохранено: разноцветные куски его сколоты воедино с историей Собаки. И в виде дополнительных скрепок наряду с главными действующими лицами через весь роман проходит цепь сквозных деталей, играющих символическую роль. Например: зубы. Эта принадлежность собаки и человека символизирует агрессивность, инстинкт насилия. Скрежет зубов Матерна напоминает о Гитлере, доказывает их внутреннее родство, заставляет в сущности честного Матерна принять участие в преступлении. А выброшенный за пределы системы художник-еврей Амзель теряет свои зубы, все до одного, от штурмовых кулаков — наглядно показывая свою антинемецкую беззубость унтерменша.

Символ порождает символ: количество зубов у среднего человека /выбитых у Амзеля/ — тридцать два — в свою очередь, становится символическим, повторяется в числе глав первой части романа, напоминает о себе повсюду.

Перевоплощенный Амзель вставляет себе полный рот золотых зубов. Эта зубастость в квадрате — вечная памятка о случившемся, вызов и обещание взять реванш, и, конечно, намек на новое качество зубов: не насилие, а золото создаст новую Германию.

Использование такого рода деталей у Грасса, их многозначная символика настолько любопытны, что приведу еще один пример.

Роман начинается с такой сцены. Течет река Висла. На мосту стоит Матерн. Он кидает в воду какой-то предмет. Это пещерный ножик, подарок Амзеля. Почему Матерн выкинул подарок? Он оправдывается: хотелось чем-нибудь швырнуть в воду, ничего другого под рукой не оказалось. Но это увертка. С детства Матерн играл роль силача-телохранителя при гениальном конструкторе чучел. Не хотел ли он освобо-

диться от чувства зависимости, может быть, зависти? А может быть, отказался от доказательства своей близости к "еврею" — ведь в ушах Матерна слово это звучит как ругательство? Пожалуй, так оно и есть. Недаром Матерн сорок лет подряд вспоминает брошенный в реку подарок: тогда проснулась в нем сила, затолкавшая его в ряды СА.

В финале книги, когда герои встречаются, Амзель отдает Матерну заржавевший нож — ему, всеильному бизнесмену, ничего не стоило распорядиться обшарить все дно реки. Перочинный ножик, пролежавший сорок лет под водой, — символ неразрывной связи героев и одновременно — глубокой пропасти между ними.

И еще одной стороной оборачивается к нам история перочинного ножа. Он падает в воду, но не исчезает. Река возвращает его. Река — это время. Мы ошибаемся, надеясь, что время скроет наши поступки. Какими бы ничтожными они ни были, время хранит их, и память раньше или позже извлечет их на поверхность.

Так в одной детали пересекается несколько, как сейчас модно выражаться, "семантических полей": дружба и вражда, проступок и преступление, забвение и память.

Уже во второй половине 50-х гг. немецкие писатели решили отказаться от прямого показа занимавшей их проблематики, связанной с предысторией, историей и последствиями фашизма. Этими вопросами заняты профессиональные ученые из всех областей знания. Литература не может с ними конкурировать, пользуясь теми же средствами. Точнее фотографии, достовернее репортажа художественное произведение не станет. Поэтому нужно отказаться от документализма, характерного для антифашистской литературы послевоенных лет. "Довольно литературы развалин, Трюммер-Литератур!" — таков новый лозунг.

Вальтер Енс, известный прозаик и главный теоретик "группы 47", к которой принадлежал и Грасс, утверждал в своей книге-манифесте о современной немецкой литературе: "Книга, где Гитлер был бы Гитлером, немислима. Уже Брехт в "Артуро Уи" зашел слишком далеко". Нужно дать волю

фантазии, пересочинить историю, увидеть мир в остранении. И Грасс выполняет эту программу.

В Советском Союзе ученым мало пришлось заниматься феноменом сталинизма, который не попал под обстрел фотографов, о нем было мало документальных репортажей. Именно художественной литературе выпало говорить правду о сталинизме. "Архипелаг Гулаг" не мог не быть "художественным исследованием" — научных-то не было. Но литература не вся на одно лицо. Наряду с фактографическим "этическим реализмом", оттепель возродила и традицию гротеска, ирреализма, замятинского и булгаковского синтеза быта и дьявольщины, — традицию о с т р а н е н и я , понимаемую как выход из тупика соцреализма, а не противопоставление документу.

Без громких слов и манифестов к ней примыкает и повесть Владимова, где — буквально по словам Гофманстля, приведенным в эпиграфе к этой статье, — остранение определяет всю образную систему. Но "Верный Руслан" несравненно проще, экономнее книги Грасса. В нем господствует заданная условность, и все подчинено ей. Символика сложна, но определена. Концентрация средств на одной цели придает "Верному Руслану" редкую силу воздействия.

В романе Грасса все многозначительно, неуловимо, загадочно, расплывчато. Это дает многие замечательные страницы. Но, откровенно говоря, иногда утомляет.

Грасс ни на минуту не забывает, что он сочинительствует. Слишком многое, на мой взгляд, у него объясняется литературной игрой — это ослабляет впечатление от романа, несомненно интересного и талантливого.

Очень разные книги, выросшие из разных литературных традиций.

И все же внимательное чтение позволяет найти в них общие черты, кроме исходной точки — собаки-символа, кроме близости темы и остранения, возведенного в принцип.

При всей сложности повествования в одной книге и простоте его — в другой, нельзя не заметить, что сюжет в них одинаково организован во времени. Фабульное время — хроно-

логия — распадается на три периода: современность, недавнее прошлое и прошлое более отдаленное. Вне сюжетного действия присутствует и еще некое позапрошлое время: древность, время предков, прорывающееся в мечтах и подсознании героев.

В обеих книгах одинаково решена проблема времени рассказчика. Рассказчик следит за внутренними переживаниями и поступками Руслана в настоящем — его прошлое раскрывается ретроспективно, в воспоминаниях.

Амзель, Гарри и Матерн собираются для того, чтобы рассказать о своем прошлом — сегодня. Таким образом, толкование и оценка их дается в обеих книгах с точки зрения современности.

Суть хронологического деления тоже одинакова. В "Верном Руслане": сначала — детство, воспитание героя в собачьем питомнике, затем — годы службы в лагере. Современность начинается в момент закрытия лагеря — в этот момент и начинается действие повести.

В "Собачьих годах" деление во времени еще отчетливее и подчеркнуто делением романа на три части, написанные тремя рассказчиками. Первая описывает детство героев и доводит их примерно до 27-го года: это время "воспитания" немецкого общества, подготовки его к принятию нацизма. Вторая охватывает период от конца 30-х гг. до конца войны: период активного действия гитлеровской системы. Современность — часть третья — начинается непосредственно после войны. Итак: подготовка к принятию системы, жизнь в ее рамках, жизнь после ее краха.

Если смотреть под таким углом, обе книги говорят об одном: о падении тоталитарной системы. Они исследуют реакции героев, пытаясь понять смысл отношений личности и системы. Для своих исследований писатели берут как бы полярно противоположные объекты: человека и собаку.

Рассказывая о человеке, Грасс пишет роман об измене. Красной нитью проходит в нем мотив превращения борцов за идеи всемирного социализма в боевых последователей фюрера: "Раз пятнадцать дрался за коммуны, не меньше

двадцати — за нацизм," — хвастается начальник роты СА, И все изменяют фашизму после его краха.

Напрасно Матерн идет к тем, кто сделал фашизм возможным: к бывшим штурмовикам, к товарищам по спортклубу, преследовавшим еврея, к судьям, каравшим инакомыслящих, к доносчикам и предателям. Напрасно искать виновников: все уклоняются от ответственности, увиливают от обвинения, изменяют поверженной системе. Я донес? Для вашего же блага, другой побежал бы прямо в гестапо, — а я только директору доложил. Я судил? Да другой-то судья сразу к вышке вас приговорил бы, а вот вы здесь и в полном здравии — я в некотором смысле спас вам жизнь. И вообще, все тогда были недовольны, но молчали: жить ведь надо было. Наша штурмовая рота, это было настоящее убежище для "внутренних эмигрантов". А кроме того, кто такой Матерн, чтобы играть мстителя? Разве не он кинул нож в воду, не изменил дружбе? Разве не изменил он своим коммунистическим убеждениям? И в СА он был. Теперь он тоже изменяет — себе же самому, вчерашнему. Давайте-ка лучше все вместе, забыв о вчерашнем, займемся денацификацией.

Рассказывая о собаке, Владимов пишет на тему о верности системе.

Две книги как бы взаимно дополняются.

Обе они исследуют механизм включения личности в систему. Измена, верность — реакции элементов системы на ее падение. Но когда система здравствует — выбор представляется иным: либо подчинение, либо бунт.

Подчинение и бунт играют роль главных сюжетных узлов в обеих книгах. В жизнеописании Руслана это — обнаружение врага системы, удачная выборка, счастливейший миг и вершина карьеры. Но бессмысленной жестокости системы не выносит и ее стражник — Руслан бунтует, на какой-то момент выходит из повиновения.

Вальтер Маттерн подчиняется системе постепенно. Кульминация же этого процесса сдачи честного немца — когда он участвует в избиении еврея. Вся последующая жизнь Матерна состоит из попыток забыть, скрыть, сгладить свое преступле-

из всех ценностей, а собака — напоминает ему об этом. Так научили думать Руслана его хозяева.

Но есть "тайное тайных" Руслана, в которое никогда не проник всемогущий его хозяин. Иногда волнуют его совсем другие, странные видения — мир без колючей проволоки, без выстроившихся ровными рядами бараков, мир солнца, воды, тайги, где тоже есть люди, но без автоматов и мундиров, которых связывает не Служба, а просто любовь и уважение. Ничего этого никогда не знал Руслан, но мечтал "как о прошлом, которым стоит гордиться. Но часто и как о будущем мечтал, которое непременно когда-нибудь наступит, — и нехитрые эти мечтания озаряли его жизнь, наполняли ее высоким смыслом".

Две утопии Руслана. Подчиняясь человеческому началу в себе, он мечтает о лагере. Подчиняясь инстинкту собаки, мечтает о свободе.

Освобождаясь от системы, бунтуя против нее, человек превращается в собаку: инструктор превращается в Ингуса.

Есть лагерь, и вокруг него — лес. В лес хотели бы уйти собаки, поддавшись зову звериного инстинкта, в лес хотели бы бежать из лагеря люди — другого пути на свободу нет. Жизнь на свободе — это жизнь в лесу, вне оград, вне человеческой утопии. Принуждение к спасительной несвободе — таков принцип и замятинского Единого Государства.

"Верный Руслан" — повесть о системе, смысл и цель которой — уничтожение свободы, превращение мира в счастливый концлагерь.

Иначе — "Собачьи годы". В этой книге описана система, внутренний смысл которой кажется иным. Есть там такой эпизод. В 1955 году, ровно через десять лет после окончания войны, фабрика Амзеля, занятая изготовлением пугал, бросает на рынок побочный продукт: особого рода очки. Они носят разные названия: "очки для узнавания отца", "очки материнской идентификации" или просто: "семейный разоблачитель". Они предназначены для тех, кто родился в Германии не раньше 1934 года, кому в момент падения системы было не больше одиннадцати лет. Сквозь них видна

вся подноготная тех, кто родился до 1925 года, иначе говоря, тех, кто мог участвовать в системе. Дети разоблачают родителей. Что же они видят сквозь чудесные очки?.. "... Акты насилия, совершенные, допущенные, спровоцированные десять, двенадцать лет тому назад: убийства, часто сотни убийств. Соучастие в убийстве. Курить сигарету во время и смотреть. Испытанные убийцы. Награды убийцам. Овации для убийц. Убийство стало лейтмотивом".

Мы знаем, конечно, что и в гитлеровской системе караульная собака выполняла задачу. Есть такая новелла — польского писателя Юзефа Гена. В ней рассказано о том, как вскоре после освобождения из-под гитлеровской оккупации жители маленького городка приютили бродячего пса — исключительной красоты овчарку. Очень послушную. Только когда она бросается на одного из них — на еврея — они понимают, с кем имеют дело. Зверя убивают, хотя и сознают, что сам он ни в чем не виноват. По этой новелле был поставлен эпизод в фильме Казимежа Куца "Крест за храбрость", который в начале 60-х годов шел на советских экранах. Не исключено, что эта история в чем-то повлияла на автора "Верного Руслана".

Автор "Собачьих лет", однако, не такую собаку берет для своей книги. В ней собаки не несут службы, не ловят людей, не помогают устанавливать или сохранять режим. Они не действуют, но — присутствуют. Они сопровождают человека с незапамятных времен. Их присутствие символично. О значении символа можно догадываться. Между прочим, по их кличкам. Первым упоминается Перкун — это имя древнего языческого божка. Обладающий даром провидения Амзель называет Харраса /того самого, который будет отравлен// другой кличкой: Плутон. Его сына — подарок Гитлеру — зовут Принцем. Этот аристократ чистейших кровей после войны получает другую кличку: Плутон. Происходит одна из многих метаморфоз в романе: Принц оборачивается Плутоном. В античной мифологии это имя владыки подземного темного царства. Короче говоря, собака в романе Грасса не символизирует ничего хорошего. Рискуя упростить, я бы

сказал, что она воплощает часть души немецкого народа: ту самую часть, которая была на какое-то время подарена Гитлеру. В этой части души скрываются темные, звериные инстинкты.

Получается нечто обратное тому, что мы нашли в "Верном Руслане". Там звериный инстинкт по традиции, идущей в советской литературе от Замятина, — это стремление к свободе, положительная сила в человеке, противостоящая подавляющим силам системы. Здесь — это отрицательная, злая сила. Та же собака, но роль ее другая. Выражаясь по-научному, тот же сигнал, но другой код.

В мифологическом коде фашизма важное место занимало противопоставление: натура /благо/ — антинатура /зло/, живая природа — гнилая культура.

Глубинный инстинкт жизни должен победить в человеке зловерный, расслабляющий, материалистический разум. Фашистский режим готовил условия для этой победы.

Это же противопоставление составляет важный элемент информации в том коде, который описывает советскую систему, только меняются математические знаки в членах противопоставления. Светлый разум должен уничтожить низкие инстинкты человека. Ну, а если невозможно уничтожить, то затолкать на самое дно или приручить, заставить работать на себя.

Этой цели служит дрессировка, о которой очень много говорится в "Верном Руслане". С помощью дрессировки естественные побуждения подавляются, а вместо них прививаются условные рефлексы. Тем самым дрессируемый готовится к Службе.

О методах дрессировки сказано в статье А. Синявского. Но я не соглашусь с ним, когда он утверждает, что "не идеология, не мировоззрение, но — радостные сигналы будут впрыснуты в жилы" воспитуемого, что переделывает его "не идеология — дрессировка". Дрессировка не нужна сама по себе. Подобранный комплекс упражнений вырабатывает определенный комплекс рефлексов. Руслан знает, что Служба прекрасна, что Служба прекрасна для самой Службы,

ибо нужна для оберегания несмышленишей-людей и для охраны лагеря — прекраснейшего из миров.

Дрессировка—Служба—Лагерь: божественное триединство. Но это ведь и есть идеология, из триединства выводится законченное мирозерцание со своей космологией, онтологией, этикой, эпистемологией практики и даже теорией отражения: наш условный рефлекс объективно верно отвечает внешнему раздражителю.

Сравнение двух книг в этот момент снова приносит неожиданность. Казалось бы, где еще искать рассуждения о дрессировке, сцены и символы службы, как не в романе о собачьих годах гитлеризма? Но в нем совсем не встречается слово "служба", поразительно мало изображена дрессировка. Есть отдельные зарисовки — хорошие ответы на вопросы учителя в школе, песни, вопли на демонстрациях, — но как-то походя. Вскользь перечисляются объекты почитания юного члена гитлерюгенд: " Фюрер, Ульрих фон Гуттен, генерал Роммель, историк Гейнрих фон Трейтчке, очень коротко — Наполеон, актер с одышкой Гейнрих Георге, иногда Савонарола, снова Лютер и с недавних пор философ Гейдеггер". Этот последний упоминается еще несколько раз: своим экзистенциализмом он так заморочил мозги немецкой интеллигенции, что она совсем перестала соображать и проглядела опасность гитлеризма.

Все это, однако, не укладывается в картину систематической муштры, дрессировки, получившей ранг онтологической категории. Тем временем, мы же знаем о геббельсовской пропаганде, о железной дисциплине, о натаскивании молодежи и пр. Почему писатель, на себе испытывавший методы фашистского воспитания /он побывал в гитлерюгенд/, так мало отводит им места? Идеологическое мифотворчество и пропаганда действовали в Германии, конечно, с неменьшей силой, чем в советской системе, но, направляясь в другую сторону, затрагивали в человеке другие струны. Поэтому Грасс видит дрессировку иначе, чем Владимов, так же, как иначе он видит сущность системы.

Для штурмовиков дело было просто. Ждала Собака. Слышался скрежет зубов. Амзель сам сделал чучела, одел их в мундиры, пустил маршировать. Он сам уготовил себе участь. Подчиняясь Собаке, человек отдает себя во власть пугалам — такова, на мой взгляд, схема, к которой можно свести сложную символику книги Грасса. Тут дрессировка — частность. Собака извечна. Пугало всегда подстерегало человека. Амзель, создатель сотен пугал, воспроизвел в них всю немецкую историю, показывая ее непрерывность.

Не дрессировка и служба, а сам человек, вековой темный инстинкт насилия в нем — вот что виновато в победе нацизма.

Поэтому он мало занят изучением его идеологии, анализом системы, членением ее, описанием ее механизмов. В романе мало о свободе, потому что фашизм оказался о с в о б о ж - д а ю щ е й силой: он освободил человека от культуры, от внутренних тормозов, освободил от заповеди "не убий". Механизм прост: освободи в человеке зверя, остальное приложится. Поэтому сила сатиры Грасса направлена больше против настоящего, чем против самой фашистской системы, которая уже умерла, — в то время как в новой Германии живут еще участники гитлеровской "свободы", а Собака и пугало подстерегают следующие поколения.

Система, описанная в "Верном Руслане", сложнее, менее элементарна в действии, функционирует более скрыто, она умирает труднее. Но, может быть, позволительно упростить и сказать, что в повести Владимова так много о свободе потому, что система /вполне живая/ в ее идеологии и практике — сила п о р а б о щ а ю щ а я : дрессировка и служба заняты переделкой человека, порабощением его инстинктов, естественных побуждений его души и тела.

Это не магическая формула, объясняющая смысл каждой системы и разницу между ними, а итог сравнения двух литературных произведений, обобщение заключенных в них образов и мыслей. Но вот совсем недавно крупный швейцарский социолог Т. Лахузен на примере анализа таких романов, как "Тысяча душ" А. Писемского, "Отцы и дети" И. Тургенева, "Кукла" Б. Пруса показал, насколько в своем художе-

ственном вымысле писатели точнее рисуют общество, чем большинство историков, пишущих о той же эпохе и использующих заранее заготовленные историко-социологические категории.

Может быть, хоть какая-то деталь мрачной картины тоталитаризма прояснится благодаря сравнению того, что написали столкнувшиеся с ним лицом к лицу художники.

Конец в обеих книгах похожий. Пугала-автоматы терпеливо ждут на складах фабрики Амзеля. Руслан, даже умирая, видит в мечтах возвращение Лагеря и Службы. Нужно ли думать, что предупреждение излишне? Стоит ли утешать себя, что собаки управляют судьбой мира только в научно-фантастических романах?

**СЛОВАРИ И УЧЕБНИКИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ РУБИН МАСС, ИЕРУСАЛИМ /скидка 20 %/.**

Русско-ивритский словарь П. Л. Шапиро, под редакцией проф. Б. М. Гранде, 770 стр. /28 тыс. слов/. Цена, включая НДС, — 220 лир, после скидки, включая пересылку, — 180 лир.

Новый русско-ивритский словарь Исаака Амира с транскрипцией, однотомный /392 стр./, — 190 лир. Цена со скидкой — 164 лиры.

Учебник "Мори" для взрослых, говорящих по-русски. Автор — Л. И. Риклис, два тома, от изучения алфавита до чтения газеты. Цена — 170 лир, после скидки — 148 лир.

Просьба приложить почтовый чек на соответствующую сумму. Книги будут высланы на адрес заказчика /на ближайшую почту/. По просьбе заказчика высылаем бесплатно каталог.

Адрес: Издательство "Рубин Масс", Иерусалим, П. Я. 990



Макс БРОД

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ФРАНЦА КАФКИ

В 1903 году, когда я еще только начал заниматься в Пражском университете, я выступил на студенческом философском кружке с докладом о Шопенгауэре и очень резко отозвался о Ницше. Кафка, напротив, боготворил Ницше, он, не переставая, читал его и цитировал /я же в те годы читал исключительно Шопенгауэра/. Так вот, после моего доклада Кафка провожал меня домой и, хотя от природы он был молчальником, на этот раз он оказался необычайно разговорчив. До глубокой ночи мы провожали друг друга, и беседа очень скоро перешла с философских тем на литературные. Кафку не увлекала абстрактная философия. Кроме Кьеркегора /которого мы узнали лишь позже/, его мало кто интересовал и совсем не удовлетворяли ответы великих мыслителей.

То, что меня покорило в нем тогда, во время нашей первой беседы, было его преклонение перед всем естественным, обыкновенным и скромным. В Кафке было что-то от голоса тишины, исходящего из тайников природы. Неисчерпаемость

природы оставалась для него вечной загадкой, я же видел в этом только половодье чувств.

Дружба между нами завязалась с самого начала, об этом говорят первые письма Кафки ко мне. Начиная с 1903 года, мы ежедневно встречались всякий раз, когда Кафка бывал в Праге, и так продолжалось почти 22 года.

В кафе "Лувр", где мы, по обыкновению, собирались, властителем дум был Франц Brentano, выступавший против Канта. Один из профессоров школы Brentano неизменно сопровождал читаемый им курс сакраментальной фразой: "Мы подходим теперь к "Критике чистого разума" Канта, которая, в сущности, является критикой отсутствия разума".

Вагенбах — биограф Кафки — говорит о связи между брентанизмом и духовным миром писателя, ссылаясь на его афоризм: "Существует цель, но не путь. То, что мы называем дорогой, это сомнения, колебания..."

На самом деле, эти слова Кафки близки к Кьеркегору /выступающему против компромисса/, или к Ибсену /"все или ничего"/, но не к Brentano. У Кафки неизменен акцент на цель, чего нет у Brentano.

Кафка неохотно ходил на философские беседы, его интересы были в духовной и религиозной областях. Находившийся тогда на пороге славы Эйнштейн участвовал в наших спорах о Канте, он с вниманием слушал каждого из нас, а когда он говорил, его парадоксальная мысль претерпевала неожиданные повороты, подчас прокантовские. Мы чувствовали, что перед нами большой человек, абсолютно лишенный предвзятости мнений. Мы любили проводить с ним время; иногда Эйнштейн играл на скрипке сонату Моцарта, а я аккомпанировал ему на рояле. Но более всего нас занимал Кант. Однажды споры достигли такого накала, что Кафка шепнул мне на ухо: "Лучше нам уйти". Так мы и сделали.

Мое отношение к Кафке было сложное. Вероятно, это объясняется тем, что все написанное им в молодости отличали отсутствие уверенности и больная неуравновешенность, возбуждающие головокружение.

Первое произведение Кафки называлось "Созерцание".

Все написанное им до этого было уничтожено, и только две вещи спасены — "Описание борьбы" и "Подготовка к деревенской свадьбе".

В его дневнике есть такая запись: "Я очень устал. Я должен выспаться, иначе я пропал. Сколько труда нужно для того, чтобы существовать". Физическая слабость была первым предвестником надвигавшейся болезни.

Герой романа Кафки "Замок" погружается в тяжелую дрему во время решающей беседы. Только по ночам Кафка и может предаваться вдохновению. По-видимому, это было художественным, поэтическим воспроизведением образов, возникавших в его душе, "писанием молитвы", как выразился Кафка однажды.

Кафка следует за Гофмансталем, у которого переживания не поддаются выражению посредством слов. У Кафки переживания настолько сильны, что герой вынужден защищаться словами и образами, свободными от чувств, и он стремится освободиться от переживаний, чтобы быть способным существовать.

На молодого Кафку несомненно оказало воздействие "Письмо лорда Кандуса": герой здесь утопает в бесконечности вещей, и он больше не верит в то, что слова способны выразить эту бесконечность. В своей катастрофической неуверенности герой спасается при помощи волшебного слова, как это только и может быть у Кафки: "Я сосватан!"

Неуверенность Кафки — это отчаяние человека, потерпевшего крушение, отчаяние, изображаемое им в различных видах. Но Кафка, пришедший в конце концов к вере, остается и по сей день неизвестен миру. Этого неизвестного Кафку мне и хочется прежде всего понять. Я опубликовал его биографию и еще три небольших произведения о нем — "Вера и учение Кафки", "Франц Кафка как путеводный образ" и "Отчаяние и спасение в творчестве Кафки".

Среди своих бумаг я нахожу записи о его отношении к антропософии Рудольфа Штейнера в связи с беседой, которую вел с ним Кафка во время их встречи в 1911 году. Кафка пошел к Штейнеру, чтобы спросить его совета, он был

обуреваем сомнениями после докладов, прочитанных им в Праге "О познании лучших миров". Впоследствии Кафка с иронией рассказывал о встрече со Штейнером. "Я полон поэтических образов, говорил он, и так же, как они мешают мне выполнению моего профессионального долга, так мешает мне эстетическое в поисках религиозного." И позже он много раз говорил, что поэтическое мешает ему на его пути к Богу. Штейнер не понял его. Ему казалось, что Кафка жалуется на то, что в религиозной обрядности отсутствует культ красоты. Штейнеру приписывали сверхестественные возможности, но Кафка был осторожен в оценках и пытался во всем разобраться сам прежде, чем признать за кем-то способность к связи с Абсолютом. Так или иначе, он ушел от Штейнера разочарованным и после этого, насколько мне известно, никогда не возвращался к антропософии.

С первого взгляда Кафка производил впечатление эстета. Он был всегда изысканно одет, говорил медленно и любил дарить красивые книги. Уже вскоре после нашего знакомства он подарил мне "Малый мировой театр Гофманстала", эта книга до сих пор находится в моей библиотеке.

Я уже как-то писал, что в присутствии Кафки у вас создавалось впечатление, что в жизни нет ничего простого и обыкновенного. О святых и создателях религий обычно рассказывают то же самое. Для него не было ничего маловажного. Подобно тому, как он не мог обидеть человека, он не мог нанести вред никакому делу и никакой вещи.

Моя сестра и я сговорились однажды с Кафкой сыграть в теннис. Но, увы, мы прождали его три часа и, огорченные, возвращались домой. Вдруг мы видим его на велосипеде, быстро приближающегося к нам. Растерянно улыбаясь, он сказал, что опоздал потому, что должен был привести себя и свое платье в порядок.

На него невозможно было сердиться, настолько он был беспомощным, милым и неизменно доброжелательным. Кафка любил шутки, но они должны были быть простыми, деликатными и ни в коем случае не грубыми. Грубые шутки он отвергал с такой решительностью, что некоторые вообще

не решались шутить в его присутствии. Воспоминания Казанова, которые я читал с большим интересом, Кафка нашел скучными. В своих бумагах я нахожу запись шутки, которая вызвала у Кафки смех: "Один миллионер, которому жаловался нищий, не еврей три дня, страстно убеждал его — "надо постараться поесть!"

Публично Кафка редко читал свои произведения, но любил читать их в интимном кругу. Его чтение всегда было вдохновенным, таким, кстати, я его видел при посещении музея революции в Париже. Он долго стоял перед изображением Вольтера, встающего с кровати, одевающего штаны и начинающего вдохновенно диктовать секретарю набегающие мысли. Кафка смотрел на меня широко раскрытыми глазами, как бы желая сказать: "Видишь, как это должно быть, — так дух должен овладевать человеком". Он часто повторял слова Гете: "Моя радость творчества была безгранична".

В мрачном настроении духа Кафка забывал, к каким взлетам мысли он сам способен, и это был его недостаток, можно сказать, почти единственный его недостаток: "Самоуничижение!" Я не раз, буквально, требовал от него быть к себе более снисходительным. Далеко не всегда мне это удавалось, и только Дора Диамант /о которой я еще буду писать/, возвратила уже в конце его дней равновесие его душе.

Не следует представлять дело так, что в нашей дружбе с Кафкой я был его воспитателем, а он лишь послушным учеником. В действительности, мы дополняли друг друга. В моем дневнике и в записях к биографии Кафки /дневник во многих томах пропал во времена Гитлера/ есть заметки, сделанные уже на первых порах знакомства: "Я вижу в Кафке самого большого писателя нашего поколения".

В то время, когда я узнал Кафку, он только еще начинал становиться самим собой, а я был еще во власти интеллектуальных штампов. Его темперамент не знал границ, когда он делал свои первые записи. В более поздние свои работы Кафка вложил массу сил для окончательной их отделки и большей точности.

До лета 1918 года Кафка продолжал жить в Цирху, затем возвратился в Прагу и начал работать здесь мелким клерком. Я часто бывал там у него, и мы подолгу гуляли вместе.

В те дни нас занимали два вопроса: война и изучение иврита. Однажды я спросил его совета в связи с неким литературным делом. Кафке было присуще столь обостренное чувство справедливости, какого я не встречал, пожалуй, ни у кого. "Нужно ограничиться, говорил он, той областью, которой ты владеешь абсолютно". Но это приводило его иногда к болезненному одиночеству и тогда он как бы сжимался в самом себе, хотел уйти от мира и даже порвать со мной. Вот отрывок из его письма, посланный в ответ на просьбу одной актрисы, дать ей право читать его произведения: "Я не пошлю Вам никакие свои произведения, пишет он, я не чувствую, что я должен этим заниматься. Если пошлю, то это будет погоня за славой, если не пошлю — то и в этом будет крупица стремления к славе, но здесь будет также и нечто более благородное. То, что я могу предложить для прочтения, не имеет никакого значения в моих глазах. Мне был важен только тот миг, когда это писалось".

Впрочем, так было не всегда. Когда Кафка решил посвятить свою книгу /"Сельский врач"/ отцу, он настаивал на скорейшем ее издании "И это не потому, пишет он, что я думаю таким путем добиться добрых отношений с отцом /корни нашей вражды невозможно выкорчевать/, но это все же имело бы свое влияние — вместо поездки в Палестину я бы по крайней мере достиг ее пальцем на карте"

Основная проблема Кафки: как добиться абсолютно правдивой жизни для всего человечества? Мой подход к Кафке отличен от подхода многих других. В моих глазах важно то, что сказано им во имя утверждения жизни, радости творчества и глубокой религиозности, а не те из его высказываний, в которых ощущается бегство из жизни и безысходное отчаяние. На мой взгляд, Кафку нельзя ставить в один ряд с "теологами кризиса" — с теми, кто видит пропасть между Богом и человеком, между человеком и теми добрыми делами, которые он творит.

В одном из писем ко мне Кафка цитирует Кьеркегора: "В тот момент, когда появится человек, который скажет не что-то примитивное, не в духе того, что мир надо принимать таким, как он есть, но который провозгласит: Пусть мир останется таким, как он есть! — я в полной мере почувствую свою самобытность, и в этот момент в моих глазах произойдет переворот всего бытия".

Кафка много говорит о человеческой свободе, она проявляется у него то здесь, то там, но в большинстве случаев он показывает человека слабым и беспомощным. И все же, если мы хотим понять правильно творчество Кафки, мы не можем отвлечься от ростков его оптимизма. Именно потому, что эти ростки вверх были достигнуты ценой горькой борьбы с крайним скептицизмом, они в сто крат дороже нам.

"Человек не может жить, говорит Кафка, без веры, в нем есть что-то, что не поддается уничтожению". И к этому он добавляет: "Однако, может быть, что и вера, и другие неуничтожаемые ценности могут исчезнуть из сознания человека на долгое время. И если произойдет это исчезновение, то останется вера в личное божество". Здесь мы видим замечательное в своем роде слияние между скепсисом и верой. Кафка решительно отвергает догму о первородном грехе, он выступает против изгнания из рая, он ищет веру "тяжелую и легкую, как капля дождя", но одно ему совершенно ясно: каким бы ни было отношение Бога к человеку, призвание человека — служить добру.

Можно сказать, что всякий большой мыслитель внес в жизнь какую-то ясность, ясность, которую до него никто не замечал. Что же выяснил Кафка? Он установил отсутствие ясности в жизни.

Велико смятение человека. И если мы даем возможность "колеснице" Бога пронестись мимо нас, не взобравшись на нее, то мы опаздываем только потому, что не относимся к вещам с достаточной серьезностью. Но если вы сильны духом, то увидите перед собой бесконечные туманные дали, из которых к вам ничто не может проникнуть, кроме приближающейся колесницы, и в этот момент, когда она прибывает,

она охватывает своим влиянием весь мир, и вы утопаете в ней, как утопает ребенок в подушках коляски, несущейся в ночной буре".

Кафка горько жалуется на отсутствие цельности и ясности в человеческих деяниях, но он убежден, что есть истины, не могущие быть подвергнутыми сомнению.

Человек неспособен жить правдой, и потому Божественное превращается в нечто трансцендентальное, чужое и угрожающее. Со времен Иова ни один смертный не спорил с Богом, как это делает Кафка в "Процессе", "Замке" или в "Исправительной колонии" — произведениях, в которых справедливость выступает в виде бесчеловечной машины, обладающей почти сатанинской жестокостью. Агностицизм ли это? Нет, ибо в конце концов существует связь между человеком и трансцендентальным царством Бога. Но это не обыкновенная и схематичная связь, постигаемая разумом. Возможно, были на земле люди, вера которых была более глубока, чем вера Кафки. Может быть, были люди, скепсис которых был более горьким, чем скепсис Кафки. Но я знаю, что только у него вера и скепсис слились в высшем синтезе. Среди верующих Кафка был самым далеким от иллюзий. Среди скептиков он был самым верующим. И потому в его произведениях царит атмосфера щемящей боли, сомнения и неуверенности.

Когда Кафка читал отрывки из своих произведений, особенно сильно ощущался его юмор. А читая первую главу из "Процесса", он так смеялся сам, что вынужден был прекратить чтение. И это, несмотря на ужасную суровость этой главы. В этом — доказательство того, что в личности Кафки неизменно торжествовали радость жизни, радость бытия.

К. /в "Процессе"/ погибает от жизненной слабости. Уже в начале книги он — труп. Написанное Кафкой кажется исполненным пророческого видения — откуда он взял в 1914 году черную форменную одежду, облегаящую тело, с карманами, блестящими пуговицами и поясами? Слабость — понятие относительное. И если мы хотим обратиться к автобиографиче-

ским истокам романа, то мы должны помнить, что лишь с точки зрения нравственно-героических требований, предъявляемых к себе Кафкой, можно сказать, что его жизнь прошла под знаком слабости. Но если это слабость, что же тогда мы назовем неслабостью?

Характерная черта Кафки — жалость к человеку и человечеству, которому трудно идти по правильному пути. Это — слово, половина которого — улыбка, другая половина — плач. Я уже, кажется, говорил, что больше всего Кафка требовал от самого себя, и никогда не был собой удовлетворен. Никто, кроме него, не жил в постоянном сознании своей отдаленности от Бога; в своей скромности он не считал это сознание благом, он видел в нем только неуверенность и слабость.

Вместе с тем, именно потому, что "отдаленность от Бога" /от цельной, праведной жизни/ без культа и мистики, была для него первым условием жизни на земле, — можно было заметить в его отношении к людям легчайшую нотку иронии, непреднамеренной и очень трогательной. Кафка как бы дарил победителям на час возможность прикоснуться к богатству своей души, признавал их кажущееся преимущество: они, как и я, живут в сознании развернутой пропасти, и, несмотря на это, счастливые, они способны пересечь ее на тонкой веревке.

Между божественной справедливостью и человеческой нравственностью пролегает эта пропасть. "Это не обязательно грех, когда человек рождает детей. Отец Флобера болел туберкулезом. Альтернатива: либо здоровье ребенка будет подорвано, либо он будет Флобером, говорит Кафка. Ужас отца — когда обсуждение происходит в пустом пространстве".

Какое безбрежное отчаяние кроется в фразе "обсуждение происходит в пустом пространстве".

Кафка не видел противоположности между Богом и человеком. Он только видел затуманенность, запутанность, почти безнадежную и безысходную, которая вызвана бюрократическими заведениями, отделяющими человека от Бога, и сводящими на нет всякое доброе намерение.

Однако вопреки бюрократической паутине, занимающей

так много места в творчестве Кафки, — настолько много, что иногда становится трудно дышать, — он пишет вещи, полные надежды, любви и утешения, вещи, купленные ценой многих страданий, однако эти страдания не противоречат предчувствию окончательного освобождения. Если назавтра врата тюрьмы не открываются, и если даже наступило ухудшение условий заключения, и если даже заключенному сообщили, что он никогда не увидит свободы, — возможно, все это представляет собой необходимое предварительное условие окончательного освобождения.

Кафка не считал "высший" мир безнадежно закрытым перед нами. Его противоречивые высказывания не равноценны его многим попыткам зацепиться за этот мир, существование которого он признавал. Самое важное — попытаться воссоздать образ человека, исполненного религиозных переживаний, найти точки соприкосновения между миром открытым, земным и миром бесконечным и совершенным, установить, отрекался ли человек от ценностей этого мира или принципиально принимал их.

15 марта 1922 года Кафка читал мне начало своего романа "Замок". Его герой, называемый автобиографическим именем "К", на всем своем жизненном пути испытывает одиночество. Это то одиночество, которое внутри нас и которое в этом романе выступает с пронзительной ясностью. К. — человек добрый, это не оставляет никакого сомнения, он не хочет никакого одиночества, его навязывают ему. К. стремится стать деятельным членом общества, слиться с ним, приобрести полезную профессию, иметь жену и создать семью, но во всех своих попытках он терпит крушение, и мало-помалу крепнет сознание, что его одиночество не случайно. Старые жители деревни, в которой он получил для себя право жительства ценой страданий, чураются его, и он оказывается связанным с крестьянской семьей, бойкотируемой всеми. Загадка, отчего К. не удается найти общий язык с людьми, не находит разрешения. Он чужак и попадает в село, где к чужим относятся с подозрением. Более того, в романе ничего об этом не сказано, но скоро выясняется перед нами



Кафка у своего дома в Праге

чувство всеобщей отчужденности между людьми. Можно сделать шаг дальше и попробовать понять причины этой отчужденности. Не изображено ли здесь особое чувство еврея, стремящегося укорениться в чужой среде, сойтись с чужими, приспособиться к ним, но который в конце концов терпит крушение?

Уже в первой встрече с крестьянами чувствуется острота проблемы. К. блуждает по тропинкам в чужой деревне, он устал, видит старика-крестьянина. "Позвольте ли мне зайти к вам на некоторое время?" — спрашивает К. Крестьянин пробормотал что-то невнятное, и К. принял это как приглашение войти в избу.

В избе выясняется, что К. — нежеланный гость, что он мешает семейной жизни, мытью полов, стирке белья, уходу за ребенком. Ему дают, правда, с раздражением, возможность поспать, но сейчас же после этого его вежливо удаляют из дома. Не всегда еврея изгоняют грубо, но всегда с холодной последовательностью. Как будто в этом заключен некий закон природы: "Мы не нуждаемся в гостях".

Другой эпизод. К. спрашивает учителя, который не испытывает особого расположения к нему, сможет ли он, при случае, посетить его. Ответ учителя: "Я живу на такой-то улице, у мясника". Кафка замечает, что этот ответ похож был больше на сообщение адреса, чем на приглашение. "Хорошо, я приду", — говорит К. Уже в этой сцене с меланхолической объективностью вскрывается отношение неевреев к еврею — тихая, но энергичная отчужденность.

К. полагает, что он приглашен занять пост землемера, и вопрос о том, приглашен ли он на самом деле, или все это только плод его воображения, — становится осью романа. К. пытается завязать разговор с девушкой, находящейся в комнате, но тут же оказались подле него двое мужчин, один справа, другой слева, и его тащат к двери в полной тишине, будто не существует между людьми иных способов понимания.

Для К. окружающая среда делится на две сферы: деревня и Замок, возвышающийся над ней. Чтобы поселиться в

деревне, надо получить разрешение из Замка, но так же, как крестьяне чураются его, точно так же и Замок закрыт перед ним. На языке романа Замок символизирует Верховное Существо, управляющее миром, а деревня с ее крестьянами — мать-землю. "Я нахожусь здесь некоторое время и уже чувствую себя немного заброшенным, жалуется К. учителю, я не принадлежу к крестьянам и, кажется, что и к Замку я также не принадлежу".

Везде и всюду еврей натывается на древний обычай и неизбежно становится для жителей деревни навязанным извне. В то же время он пребывает в ложном сознании своего превосходства над ними. Он пытается сделать вещи более простыми и эффективными, но крестьяне в своем непонятном упрямстве отвергают его с раздражением. "Ты не принадлежишь к Замку, говорит трактирщица с жестокой откровенностью, и не принадлежишь к селу, ты ноль, чужой, лишний, и всегда ты мешаешь, всегда от тебя неприятности, и намерения твои неизвестны... "Ты — то, что ты есть, я уже видела в своей жизни достаточно и потому я могу перенести это. Но пойми, что ты требуешь... Ты находишься всего несколько дней в деревне и уже ты хочешь разбираться в делах лучше местных людей. Я не отрицаю, что можно добиться цели иначе, чем это принято, но нет у меня сомнения в том, что это невозможно достичь твоими беспрерывными "нет" и упрямым утверждением своего мнения".

В том же духе говорит глава села: "Ты был принят как землемер, но у нас нет работы для тебя... Никто тебя не удерживает, ты можешь уйти, но" это нельзя назвать изгнанием... Да кто же посмеет тебя изгнать, господин землемер, ведь неясность предварительных вопросов обеспечивает тебе порядочность в обращении. Однако ты, по-видимому, слишком чувствителен".

К. потерпел жалкое фиаско, несмотря на то, что приступил к решению своей задачи с полной ответственностью и серьезностью:

Безысходное положение европейского еврейства раскрыто также в рассказе "Жозефина — певица или мать мышей" —

последнее произведение, на издание которого Кафка дал свое согласие.

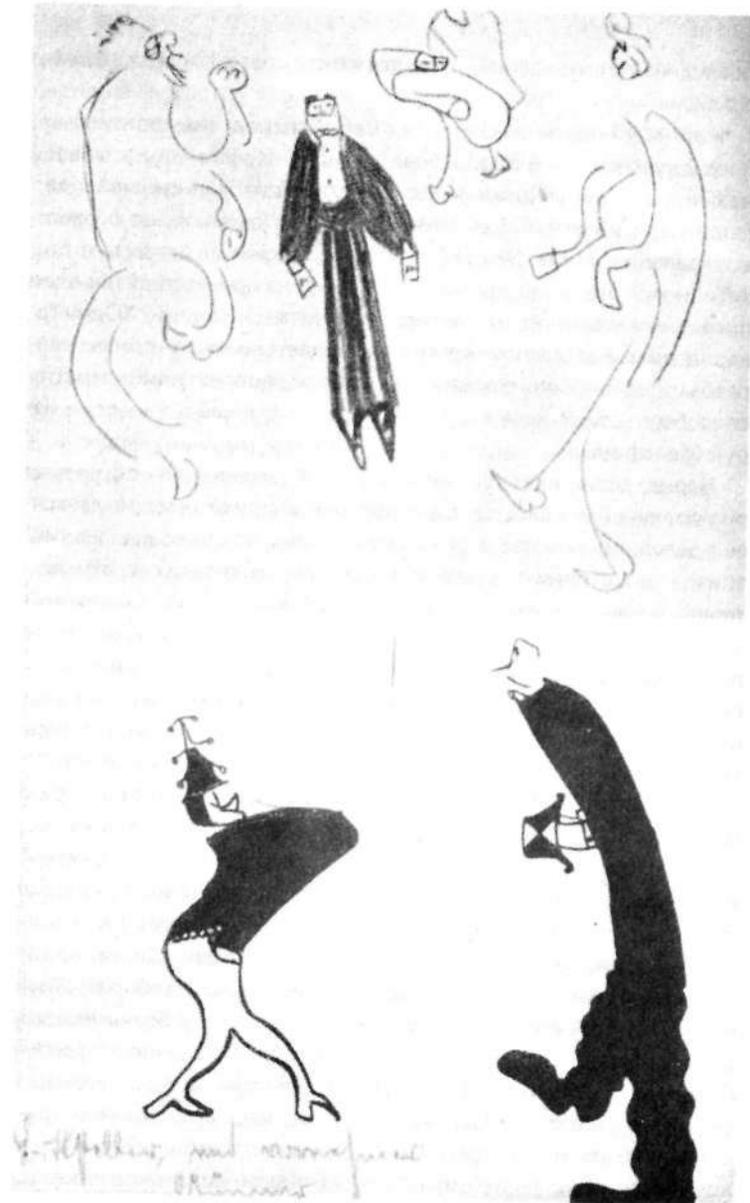
Нет надобности разяснять, какой народ символизируют преследуемые и незащитные мыши. Кафка показывает, как продолжают /даже в час бедствия/ избранники народа, люди пера и разные "выдающиеся люди", заботиться о самовосхвалении. Но в "Жозефине" уже есть намек на путь к позитивному решению проблемы. Жозефина прячется от народа, превозносящего ее искусство — и далее сказано: "Однако народ тихий и деспотический не подает никаких признаков разочарования, он замкнут в себе и, вопреки видимости, способен только давать, а не получать, даже из рук Жозефины.

Народ этот идет своим путем. Жозефина же обречена, она должна быть забыта. Еще немного, и придет час: раздастся ее последний возглас и она исчезнет. Она — только маленький эпизод в истории народа, и народ легко перенесет эту потерю".

Мысль Кафки неизменно выражается в образах, а не в силлогизмах. Даже в дневнике он записывает: "Наплыли сны, они пришли с верховьев реки, восходят по лестнице на стену, и мы останавливаемся, беседуем с ними, они могут рассказать многое и только, откуда пришли,— они не знают..."

Мы должны видеть различия между понятиями аллегории и символа. Кафка никогда не пользовался аллегориями, но зато его творчество носит глубоко символический характер. Аллегория появляется тогда, когда вместо одного говорят что-то другое, но это другое само по себе не имеет значения. Якорь, означающий надежду, не интересует нас как таковой. Он интересует нас как выражение надежды. Наоборот, "непокорный оловянный солдатик" Андерсена, обозначающий доброе сердце, остается нам дорог и в его личной судьбе. Оловянный солдатик перестал быть аллегорией, он превратился в символ. Если писатель не сообщает нам сразу все им придуманное, то это потому, что невозможно вообще сказать все до конца, потому что это "все" тянется до бесконечности.

За кулисами сцен, изображенных Кафкой, открывается



Рисунки Франца Кафки

дорога в бесконечность. Только тот, кто любит жизнь всей душой, способен нам рассказать о ней, как рассказал Кафка. Нет в его рассказе образа, который бы не добавил нового штриха, нет у него слова, в котором бы не было своего смысла, и это не только стилистическое или эстетическое явление, это явление нравственное, продукт особой искренности Кафки. События, которые он описывает, представляют самих себя, но вместе с тем они заключают в себе и некий, куда более важный смысл. От каждой детали тянется луч в бесконечность, в вечность, в мир идей. В каждом большом произведении искусства отражается вечность, но у Кафки это отображение превратилось в принцип формы его произведения — настолько, что невозможно отделить форму от содержания, сливающихся в одно целое.

Мало было писателей сходной судьбы с Кафкой. Почти полная неизвестность при жизни и мировая слава после смерти. Мы уже видели, что сам Кафка относился с полным равнодушием к славе. Для него /как он отмечает это в дневнике/ писательское творчество является "формой молитвы". Его стремления направлены на внутреннюю цельность, на жизнь по правде.

Не надо, однако, думать, что мирское мнение не имело значения для Кафки. Просто у него не было времени заниматься этим, ибо его душа была исполнена влечения к высшим нравственным ценностям, которые почти невозможно достигнуть. До боли, до безумия рвалась она к цельности, к чистоте, к Божественному, но только немногие знали правду о нем.

При его жизни и первое время после смерти нелегко было найти издателя произведений Кафки. Сегодня в мировой критике почти нет изданий, в которых не упоминалось бы его имя.

В мае 1947 года, спустя восемь лет после того как я оставил Прагу, мной было получено письмо, которое начиналось словами: "Я не знаю, помните ли Вы меня. Я тот музыкант, о котором Вы писали в "Прагер Тагеблат", я — тот, который занимался изданием Кафки на чешском языке". Далее следо-

вал вопрос, согласен ли я получить "Записки из Дневника" о Кафке, для которых он ищет издателя. Рукопись прибыла с большим опозданием. Между тем, приехала Дора Диамант /подруга Кафки в последние годы его жизни/, и, когда я прочитал ей отрывки из рукописи, она пришла в восторг — она узнала особый стиль и образ мыслей Кафки.

К тому же времени были обнаружены "Письма к Милене" Кафки. Свыше 20-ти лет пролежали эти письма в банковском сейфе, и я о них ничего не знал. По моему мнению, эти письма могут быть поставлены в один ряд с лучшими образцами эпистолярного жанра.

В дневниках Кафки мы не находим ничего, относящегося к периоду от января 1920 года до октября 1921 года. Этих тетрадок попросту нет. В записках от 15 октября 1921 года сказано, что все дневники переданы Милене /Язнеско-Полляк/. Весьма возможно, что Кафка сам уничтожил все, относящееся к этой большой любви. Ей же были переданы рукописи романов "Америка" и "Замок", предназначенные мне.

В бурных отношениях с Миленой, которые принесли вначале счастье Кафке, наступил трагический поворот: у меня есть письмо, в котором он умоляет сделать все, чтобы избежать визита к нему Милены.

В моей "Биографии Кафки" я почти обошел молчанием эту главу. Тогда Миленка была еще в живых. Между тем, мне удалось узнать немало об этой изумительной женщине, ее смерти в концлагере и о магическом ее влиянии на окружающих.

Многое из сказанного Кафкой в этот период будет понято, если мы примем во внимание, что в те дни еврейский вопрос занимал его больше, чем когда-либо. Он полюбил в Милене чешскую женщину-христианку /две ее подруги были также замужем за евреями/. Муж Милены был еврей, что вызывало у нее бесконечные конфликты с отцом — крайним чешским националистом. Возможно, все это углубило взгляды Кафки на еврейский вопрос и нашло свое отражение в романе "Замок" — балладе о человеке без родины, пытающемся найти себе место среди чужого народа и терпящем крах.

Письма Милены ко мне /их было в общей сложности восемь/ помогают понять ту сложную ситуацию, в которой очутился Кафка. В романе "Замок" легко увидеть отражение его любви, показанной в весьма мрачном свете. Миленка, которая появляется в романе в образе Фриды в весьма карикатурном виде, принимает решительные меры, чтобы спасти К. Фрида сближается с ним, создает семью, испытывающую массу лишений, но не падает духом. Фрида готова на все, хочет принадлежать ему вечно и таким путем возратить его к естественной, праведной жизни. Но в тот момент, когда К. соглашается принять протянутую руку, всплывают прошлые обязательства Фриды, влияющие на нее. Счастье приходит к концу, потому что К. не готов довольствоваться меньшим, чем все, он хочет Фриду видеть своей и только своей. Оказывается, что жажда избавления от прошлого была значительно более глубокой в душе К., чем в душе Фриды.

Можно продолжить параллель между личными переживаниями Кафки и романом, где у К. столь заметна тяга к самобичеванию. В романе он видит себя обманщиком, выдумывающим, приглашение на службу ради своих личных интересов.

И это, по-видимому, соответствовало тогдашним умонастроениям Кафки, вечно неудовлетворенного собой.

Подруги Милены предостерегают ее от связи с Кафкой, в романе они появляются в облике "трактирщиц", напоминающих образы из греческого мифа. Ревность и презрение, с которыми Фрида относится к Ольге, опять же, заставляют нас вспомнить Милену и ее отношение к той, с которой Кафка был помолвлен в те дни. Миленка требовала, чтобы он порвал свои отношения с ней и ее семьей, и он выполняет это требование. Мы видим, как Кафка силой своего воображения объединяет все происходящее с ним в жизни и создает картину, освещенную сумеречным светом и исполненную пророческого видения.

Восемь писем Милены ко мне дают возможность видеть их отношения с Кафкой с женской стороны и как бы дополняют письма Кафки к Милене. Два первых письма ко мне на-



Могила Кафки в Праге

писаны в 1920 году на немецком языке. Четыре последующих — на чешском. В них находит свое выражение ее характер, ее сильная, бурная личность. С ослаблением ее связей с Кафкой изменилось и отношение Милены ко мне, сделалось более сдержанным, может быть, поэтому два последних ее письма также написаны на немецком.

В письме от 29 июля 1920 года она, между прочим, пишет: "Я действительно была в большом смятении чувств, ведь мне ничего не было известно о болезни Франца... Ты благодаришь меня вместо того, чтобы осудить за то, что я не нахожусь подле него и ограничиваюсь письмами. Прошу тебя, прошу от всего сердца, не думай, что я плохая, что я делаю себе легкую жизнь, нет, я — скорее мученица, вся в отчаянии /не рассказывай Францу!/ и в полной растерянности. Но то, что ты пишешь, что я все же дарю Францу что-то доброе, — для меня это ни с чем несравнимое счастье... Мое замужество и любовь к мужу — это слишком сложно, чтобы об этом рассказывать здесь. Но положение таково, что я не могу сдвинуться отсюда и, может быть, вообще ничего не могу. Ты находишься подле него, и ты мне сразу скажешь, если будет что сказать. Ты ведь отнесешься ко мне сурово и искренне. Сегодня мне легче, потому что ты со мной, потому что я не так одинока".

В другом письме речь идет о Кафке, его характере и его "странностях". "Ты спрашиваешь, пишет она, как это возможно, что Франц боится любви и не боится жизни. Мне кажется, что дело обстоит не так. Для него жизнь — это нечто другое, чем для других. Деньги, биржа, девизы или пишущая машинка — для него — мистические понятия /совсем не как для нас, мы другие/. Для него они представляют странную загадку и его отношение к ним совсем иное... Был ли ты с ним когда-либо на почтамте? Когда он платит и ему возвращают сдачу, он считает, сколько получил и приходит к заключению, что получил на одну крону больше, чем ему следует. Видел ли ты, как он возвращает девушке эту крону и уходит медленными шагами, потом считает еще раз и на последней ступеньке, внизу, он убеждается, что возвращенная крона принадлежит ему. И ты стоишь вмес-

те с ним в состоянии полной растерянности. Он не знает, что предпринять, — у окошка много людей, и я говорю ему: "Если так, оставь это!" Он смотрит на меня, объятый смятением, — как можно оставить? Ему не жаль потерянной кроны, но в его глазах нехорошо то, что случилось. И это повторяется с незначительными изменениями в каждом магазине, в каждом ресторане, подле каждого нищего. Однажды он дал нищенке монету в две кроны и хотел, чтобы она возвратила ему одну крону сдачи. Нищенка сказала, что у нее ничего нет, и мы стояли, по крайней мере, две минуты и не знали, что предпринять, и вдруг он вспомнил, что он может оставить ей две кроны, но, сделав несколько шагов, он снова омрачился... Чувство подавленности в отношении всего, что связано с деньгами, почти такое же, как и в его отношении с женщинами, а также и в его отношении к бюро... Спроси его, почему он так любил свою первую невесту, и он скажет тебе: она была такой способной в делах, и лицо его просветлеет от переживаемого им чувства преклонения. И все потому, что эта сфера остается для него загадкой, таинством, чем-то, на что он неспособен. Когда я ему рассказала, что мой муж изменяет мне сто раз в год и властвует надо мной и другими женщинами, он преисполнился восхищения, так же, как когда зашла речь о начальнике его бюро, который умел быстро печатать на машинке... Все эти явления непонятны ему, потому что они жизненны, но Франц неспособен жить. Франц никогда не излечится. Франц скоро умрет. Правда состоит в том, что мы все способны жить лишь потому, что спаслись бегством в ложь, в слепоту, в энтузиазм, в оптимизм, в какую-то веру, в пессимизм или еще во что-нибудь. Он не удирает никогда ни в какое убежище, он неспособен лгать так же, как неспособен пьянеть. Он остался без убежища, без укрытия, он, как голый в среде одетых, и даже само понятие правды не соответствует тому, что он говорит, чем он живет, тому, что он есть. Он — абсолютная сущность, очищенная сама по себе от всякого добавления, способного помочь ему записать его жизнь в ее красоте или в ее несчастье — это все равно. Его мученичество совсем не героично и потому оно во много

крат выше. "Героизм" — ничто иное, как ложь и трусость. Человек, пользующийся мученичеством как средством для достижения цели, — не настоящий человек. Настоящий человек — это тот, который вынужден принять на себя крест мученичества из-за ясности своего ужасного видения, из-за чистоты своей, из-за своей неспособности идти по пути компромиссов. Есть в мире очень умные люди, которые не хотят компромиссов, но они надевают розовые очки и сквозь них видят все в ином свете, и потому они не нуждаются в компромиссах, и, само собой, они умеют быстро печатать на машинке и заводить любовные связи с женщинами. А он стоит подле них, удивленно наблюдает за ними, за пишущей машинкой и за женщинами, и никогда не поймет их. Его книги удивительны и он сам удивителен еще больше".

Следующее письмо — это крик отчаяния. Милена получила письмо от Кафки из санатория, в котором он сообщает о разрыве их отношений. Милена была готова встречаться с Кафкой время от времени и быть с ним, но она была не готова оставить мужа и жить с Кафкой. В его же глазах женитьба означала общность душ. И общность детей, в них он видит святую вершину жизни. Очень возможно, что при пошатнувшемся здоровье Кафки мысль о супружеской жизни была лишена логики. Только чудо могло еще его спасти, и Кафка искал это чудо, и нашел его в лице упомянутой уже Доры Диамант. Милена из-за своей "земной сущности" не была способна совершить это чудо.

"Разве я виновата? — спрашивает она в своем письме. — Я могла бы рассказать тебе, как случилось то, что случилось, почему и как. Я могла бы рассказать обо всем и о своей жизни, но для чего?"

В другом письме она пишет: "Что он меня любит — это я знаю. Он слишком добр и совестлив, чтобы перестать меня любить. Ведь он всегда видит в себе виновного, слабого. И все же нет в мире человека, который обладал бы такой гигантской силой, таким сознанием необходимости чистоты, цельности и правды. До последней капли крови своей я знаю, что это так, но мне не удается проникнуть в это своим созна-

нием... Я болтаюсь по улицам, целые ночи просиживаю у окна, иногда мысли острые, как нож, осаждают меня и острая пронзительная боль появляется в сердце.

Из рассказанного мной можно видеть, сколь рискованны поспешные оценки Кафки, равно как и оценки слишком упрощенные. Весной 1948 года обратился ко мне музыкант Вольфганг Шокен /живший тогда в Иерусалиме/ с письмом в котором он сообщал, что, по его сведениям, нет никакого сомнения в том, что у Кафки был сын. Как доказательство он показал мне письмо госпожи М. М., с которой Кафка был связан близкой дружбой. К тому времени этой женщины уже не было в живых, а сын, по сведениям Шокена, скончался свыше двадцати лет назад. В том, что Кафка так и не узнал, что у него был сын, который скончался раньше, чем он, в возрасте семи лет, нельзя не видеть трагического переплетения событий, трагического сверх всякой меры.

Возможно, что разные обстоятельства не позволили матери мальчика — женщине гордой, независимой и замкнутой — открыть секрет самому Кафке. Это была короткая связь, после которой наступило длительное, а потом и окончательное отчуждение. Я сам был также знаком с госпожой М. М., но это было поверхностное знакомство, и мне ничего не было известно о ее отношениях с Кафкой. Из его собственных рассказов у меня сложилось впечатление, что эти отношения были иногда даже враждебные. Намеки на это мы находим в дневниках Кафки. Была эта женщина очень умной, пользовалась большим успехом, обладала сильным характером и широким интеллектуальным горизонтом. Трудно себе представить, какое влияние мог бы иметь на Кафку тот факт, что он был отец ребенка. Он так стремился стать им и ни в чем так не сомневался, как в том, что это возможно. Каждый, кто знаком с его произведениями, знает, сколь часто ощущается в них тоска по ребенку. Ни о чем большем он так не мечтал, как о том, чтобы сидеть возле колыбели своего сына. Свершение этого его желания могло бы стать высшим подтверждением верности его жизненного пути. Он чувствовал бы себя вознесенным, так же, как в отсутствии продолжения

рода видел вынесенный ему приговор. Надо признать, что жизнь "сочинила" здесь рассказ, соответствующий запутанному, ожесточенному и преисполненному горькой иронии творчеству самого Кафки.

Госпожа М. М. посетила его могилу в Праге. Много позже после этого, 21 апреля 1940 года, она написала человеку /связанному со мной/, с которым она встретилась снова в Праге, письмо из Флоренции в Палестину. Я цитирую из этого письма самое важное: "Ты был первый, который видел меня в Праге в большой прострации, охваченную страхами и тревогой за будущее. Тогда помогла мне твоя игра в неубранной комнате твоего приятеля и короткие прогулки в волшебном городе /который люблю больше, чем ты можешь себе представить/ преодолеть мое тяжелое настроение. Тогда я посетила могилу человека, который был так дорог мне и гениальность которого теперь превозносят все. Он был отцом моего ребенка, который внезапно скончался в Мюнхене, на седьмом году своей жизни, далеко от меня и от него, с кем я вынуждена была расстаться во время войны. Никогда я об этом не говорила, это первый раз, когда я упоминаю об этом. Моей семье и друзьям ничего не было известно. Знал только глава моего бюро. Его отношение ко мне было безупречно, и потому с его смертью в 1936 году я потеряла многое. Счастлива я лишь сознанием того, что мои близкие были избавлены от страданий эпохи".

Как относился Кафка с супружеству, можно видеть из его "Письма к отцу": "Жениться, основать семью, охотно принять всех рождающихся детей, воспитать их в этом мире, потерявшем устойчивость, — это, на мой взгляд, самое большое благо, которое дано человеку. Тот факт, что многие успевают в этом без особого усилия, не опровергает сказанного мной, ибо, во-первых, не так уж успевают в этом многие, и, во-вторых, те "немногие" в большинстве случаев это не "делают", а это "случается" у них. Правда, это нельзя рассматривать как высшее достижение, но все же это достижение /нельзя ведь разделить вполне "сделать" и "случиться"/. В конце концов важна не высшая граница, а приближение к ней.

Нет необходимости подниматься и взлетать до солнца, нужно искать для себя маленький уголок, куда проникают лучи солнца и где можно согреться".

Само собой понятно, как потрясла Кафку встреча с девушкой, которая впервые пробудила в нем стремление к женитьбе. В августе 1912 года он объяснился в любви к Ф., и в его архиве находится письмо, написанное в ноябре того же года этой девушке. В этом письме Кафка писал: "Дорогая девица! Ты не должна писать мне и я не буду писать тебе. Мои письма могут сделать тебя несчастной, я же все равно погибший и ничто не может помочь мне. Еще перед тем, как было отправлено мое первое письмо тебе, я это прекрасно сознавал. И если я все же пытался сблизиться с тобой, то я заслужил проклятия, если бы и не был проклятым и без того. Если ты хочешь получить свои письма, я, конечно, выполню твое желание, но я был бы счастлив, если бы они остались у меня. Если же ты все же настаиваешь на получении своих писем, пошли мне пустую открытку. Что касается моих, то я хочу, чтобы они остались у тебя. Забудь, по возможности, скорее о том призрак, которым я являюсь, и продолжай жить весело и спокойно так же, как это было до нашего знакомства.

Тем не менее, переписка между Прагой и Берлином не прекращается. Колебания продолжают, и решения нет. В мае 1913 года Кафка пытается найти успокоение, увлекшись садоводством. 1-го июля он пишет в дневнике об охватившем его желании "одиночества, до потери сознания — стоять только перед самим собой". Но уже 3-го июля он пишет о возвышенных чувствах, которые, по его мнению, ему принесет женитьба. Затем следует интереснейший документ. 21-го июля Кафка излагает аргументы "за" и "против" женитьбы. Этот потрясающий документ заканчивается записью, сделанной большими, против обыкновения, буквами: "Какой я жалкий человек и какая прострация!" Вот содержание документа:

" 1. Неспособность переносить одиночество. Но это не означает отсутствия способности жить, напротив, кажется маловероятным, что я способен жить с кем-либо. Но, с другой

стороны, я неспособен быть один на один перед требованиями жизни и моей личности, времени и возраста, слабеющей воли к творчеству, бессонницы на краю помешательства. Я прибавляю, разумеется, слово "возможно". Связь с Ф. укрепляет устойчивость моего существования.

2. Все вызывает во мне волну размышлений. Шутка в газете, воспоминания о Флобере и Грилфарцере, вид рубаш на кроватях родителей перед наступлением ночи, женитьба Макса. Вчера сказала мне сестра: "Все семейные счастливы, я не могу понять этого". Эти слова вызвали во мне тяжелые размышления, и меня охватила тревога.

3. Я должен много времени находиться в одиночестве. Все, чего я достиг до сих пор, — это плод одиночества.

4. Я ненавижу все, что не связано с литературой. Беседы /даже на литературные темы/ и визиты вызывают у меня приступы скуки; несчастья и радости близких приводят меня в состояние смертельной скуки. Беседы с людьми лишают мои мысли веса, важности, серьезности и правды.

5. Страх перед связью, перед слиянием. Никогда я уже не буду один.

6. В своих отношениях с моей сестрой я был во многих случаях, особенно до последних лет, совершенно другим человеком, чем в отношениях с другими людьми. Без страха, сильный, чувствительный, способный удивить и поразить, — таким я был только тогда, когда писал. Если бы я мог с помощью жены приобрести такую же способность поведения по отношению ко всем людям! Но не будет ли это за счет ущемления моего творчества? Только не это, только не это!

7. Как холостяк, я все же лелею надежду на то, что смогу в конце концов оставить службу, будучи женатым, я уже никогда не смогу это сделать".

13 августа Кафка записывает: "Теперь, возможно, все кончено. Письмо, написанное мной вчера Ф., было моим последним письмом ей, и это желанный выход. Сколько бы я ни страдал, сколько бы ни страдала она,— это невозможно сравнить с теми страданиями, которые нам предстоят совместно. Я понемногу приду в себя, а она выйдет замуж, и

это единственный выход в отношениях между людьми. Мы вдвоем не сможем пробить себе дорогу в скале, мы довольно плакали и мучались в течение целого года. После прочтения моего последнего письма она также поймет это. Если же нет — я женюсь на ней, потому что слишком слаб, чтобы противостоять ее мнению относительно нашего общего счастья, и я неспособен в той мере, в какой это зависит от меня, не сделать того, что она считает возможным".

Однако события приняли другой оборот. 14 августа Кафка записывает: "Случилось обратное тому, что я ожидал. Пришли три письма, последнее меня покорило. Я люблю ее в той мере, в какой я способен любить, но моя любовь погребена глубоко под слоем страха и самообвинения". И уже 15 августа он записывает: "Мучения в кровати перед рассветом. Виден единственный выход в прыжке через окно. Мать подошла ко мне и спросила, послал ли я письмо, я сказал ей, что послал, но в более резком тоне. Я добавил, что она не понимает меня, и не только в этом... Эта беседа и другие впечатления от самого себя привели меня к мысли, что внутренняя уверенность и проясненность все же содержат в себе возможность семейной жизни, и более того — развития, которое положительно повлияет на мое призвание. Это, правда, вера, которую я пытаюсь усвоить в 12-м часу, когда я уже стою как будто на подоконнике, замыкаюсь и запираюсь перед всеми до потери сознания. Поспору со всеми, не буду разговаривать ни с кем".

Кафка читает Кьеркегора, отмечает сходство его и своей судьбы. В сентябре 1913 года он спасается бегством в Риву, в санаторий Гартунген. "Мысль о свадьбе вызывает у меня ужас", пишет он мне. В санатории происходит странный, полный таинственности эпизод знакомства с швейцарской девушкой. "Я весь обороняюсь перед впечатлениями от этого эпизода. Если бы я знал, что это результат ее просьбы никому ничего не рассказывать /эту просьбу я выполнил без труда/, я был бы очень доволен". И после этого слова: "Слишком поздно. Сладость — которая в печали и в любви... Улыбка, которой она улыбнулась мне в лодке. Это было самое красивое. Всегда хотеть смерти и все же держаться, только это и есть любовь".

Как раз в те дни я занялся "общественным воспитанием" Кафки, речь идет об идее сионизма. Это был единственный период охлаждения наших отношений. "Позавчера я был у Макса, он становится день ото дня мне все более чужим. Уже случалось, что он был мне чужим, но теперь и я чужой ему". И через некоторое время запись /которую он опроверг затем своими делами и творчеством/: "Что общего у меня с евреями? У меня едва ли есть что-то общее даже с самим собой. Я только и способен, тихохонько радуясь тому, что дышу, забиться в угол".

Его дневники полны описаний снов, отрывков из рассказов, все находится как будто в процессе брожения. И вот среди всего этого мы видим заметку, раскрывающую один из истоков его духовного мира и творчества: "Ненависть к активному самонаблюдению, самосозерцанию... Вчера я был таким по такой-то причине, сегодня я такой по такой-то причине. Нет, это неверно, не по этой причине и не по другой, и поэтому не так и не эдак. Осуществлять себя не торопясь, жить, как следует жить, и не кружиться, как собака, вокруг самого себя".

Год спустя произошел кризис в отношениях с Ф., которая вообще более не интересовалась им. 5-го апреля Кафка записывает: "Если бы можно было бы переехать в Берлин, быть самостоятельным, жить чем попало, даже голодать, но излучать силу вместо того, чтобы сидеть здесь и делать сбережения. А может, лучше обратиться к тому, что называется "ничто"? Если бы Ф. хотела этого, если бы помогла мне!"

Он хотел жить в Берлине, как журналист, как свободный писатель. В конце мая или в начале июня там же в Берлине состоялась помолвка. В Праге была снята квартира. Сватовство, которое произошло в недобрый час /"я был закован, как преступник"/, так ни к чему и не привело, и это выяснилось уже в конце июля все в том же Берлине.

Я не ошибусь, если попытаюсь найти во всем этом, когда Кафка беспрерывно боролся со своей совестью, источник двух больших произведений, созданных вскоре после отмены

помолвки. В сентябре он читал мне первую главу из романа "Процесс", а в ноябре — "В исправительной колонии".

Мы не знаем, каково преступление К., героя романа "Процесс". По закону он, по-видимому, невиновен, и все же, он выглядит как "сатанинская личность во всей своей наивности". Каким-то образом он погрешил против основных законов жизни. Он предстает перед таинственным судом, и в конце концов, приговор приводится в исполнение. "Накануне ему исполнился 31 год", — сказано в последней главе. Кафка также был в возрасте 31 года, когда начал писать этот роман, в котором время от времени появляется девица по имени Бюрстнер. "Не совсем было ясно, что это именно она, хотя сходство было большое. Но для К. это не было столь важным, он думал только о бесполезности своего сопротивления". И в самом деле, разве надо придавать значение тому, действительно ли это девица Бюрстнер, или это только образ, у которого с ней известное сходство. Ведь и неудачная попытка женитьбы Кафки не имела, как выяснилось впоследствии, индивидуального влияния на его жизнь, это влияние было схематичным, то есть оно не было обусловлено личностью той или иной невесты, над ним замкнулась схема, которую, как доказано было в последний год его жизни, способна пробить лишь одна женщина, обладавшая особыми личными качествами.

Пять лет Кафка боролся с самим собой и с обстоятельствами, которые препятствовали его супружеству с Ф. В этот период он много читает Стриндберга, а также Библию, Достоевского, Паскаля, Герцена и Кропоткина. О "Лондонском тумане" Герцена Кафка пишет: "Я не знал, о чем идет речь, и все-таки вырисовывается здесь цельный образ человека смелого, мучающего свою душу, умеющего владеть собой и опускающегося на дно".

Верфель читает ему стихи и отрывки из пьесы "Царица из Персии". Он участвует в дискуссиях евреев Востока и Запада, за которыми он следит молча, с напряженным интересом. В то же время я пригласил его в субботу вечером на ритуал проводов "шабата" у одного раввина, переселившегося

во время войны из Галиции в Прагу. Кафка остался равнодушным, хотя, как мне кажется, язык древнего народа нашел отклик в его душе. "По существу, сказал он мне по дороге домой, это было, как у африканских племен, — верования, коренящиеся в предрассудках, и более ничего". Не было в его словах ничего такого, что могло бы задеть, но было в них трезвое противостояние, и я понял его. Кафка жил в мире своей собственной мистики и не нуждался в том, чтоб она шла извне. Он любил быть один и много часов проводил наедине.

Зимой 1916-1917 гг. Кафка живет в Старой Праге, которую он необыкновенно любит. В августе у него впервые появляется кровавый кашель. По мнению самого Кафки, это вызвано психологическими причинами, и он не склонен обращать на это особое внимание. Только 4-го сентября мне удалось убедить его спросить совета врача, который устанавливает опасность чахотки. Господи! Разве это возможно? 10-го сентября появляется запись в моем дневнике: "После обеда второй визит с Кафкой к профессору. Он рассказывает мне, что изучал иврит, о чем раньше ничего не говорил. Теперь мне ясно, что он хотел меня испытать, когда несколько дней тому назад спросил /как будто бы не зная/, как на иврите считают. Сохранение тайны? Есть в этом некое величие, но и злость".

В начале ноября я записываю одну из своих последних бесед с Францем. Речь шла о моих треволениях, но она проливает свет и на его тревоги. "Он: всегда это так. Несчастье в том, что обо всем думают и все взвешивают. Я: разве не надо быть рассудительным? Он: это, конечно, не закон. Но, скажем, нельзя в себе все взвешивать. Рассудительность — это совет змей. Но и этот совет хорош и человечен. Без него мы потеряны".

26 декабря у меня записано: "Кафка пришел ко мне рано и попросил, чтобы я "пожертвовал" ему предобеденные часы. Кафе "Париж". Он не ищет во мне советчика. Одно лишь времяпрепровождение. Мы говорим обо всем, только не о том, что касается его. Кафка о "Воскресении" Толстого:

"Невозможно написать об избавлении, можно только жить им".

На следующий день он посетил меня в моем бюро. Проводил Ф. к вокзалу. Его лицо было бледным и суровым. И вдруг он разразился плачем. Это был единственный раз, когда я видел его плачущим. Никогда не забуду это потрясающее зрелище. Он сказал: "Разве не ужасно, что это случилось?" Слезы текли по его лицу. Он был в полной растерянности и не владел собой.

"Нет здесь человека, который понял бы меня до конца. Заполучить человека, озаренного таким пониманием, женщину, например, — значит добиться всесторонней помощи, значит обрести Бога". Так писал Кафка в своем дневнике в 1915 году. Кажется, в последний период его жизни это счастье было ему дано. Заключительный акт его хождения по земле принес ему больше радости, чем все прожитые годы.

Лето 1923 года он провел на берегу Балтийского моря, и оттуда совершенно случайно заехал в летний лагерь еврейского народного клуба в Берлине. Там он увидел девушку, работающую на кухне, она была занята чисткой рыбы. "Такие нежные руки и так залиты кровью", — заметил Кафка. Девушке стало не по себе, и она попросила перевести ее на другую работу. Это было начало знакомства с Дорой Диамант.

Дора Диамант, которой тогда было 19 или 20 лет, происходила из почтенной хасидской семьи, жившей в Восточной Европе. Несмотря на то, что она уважала и любила отца, бремя традиций было для нее, пожалуй, слишком тяжким. Впрочем, она в совершенстве знала иврит, и Кафка в те дни тоже активно изучал его. Об этом, в частности, свидетельствуют записи в его архиве. По его собственному свидетельству, одна из первых их бесед закончилась тем, что она решила прочитать ему в оригинале пророка Исайю. Кафка не мог не заметить ее актерского дара, и, по его совету, она решила поступить в театр.

После знакомства с Дорой Диамант он возвратился в прекрасном расположении духа. В конце июля 1923 года покинул Прагу и уже из Берлина сообщил мне, что он счаст-

лив. Поселился с Дорой в небольшой квартире, я был у них три раза и всегда заставал там идиллию. Кафка, опять же по его собственным словам, освободился от духов и бесов, преследовавших его. "Я скрылся от них, переезд в Берлин был замечательным, и теперь, если они меня и ищут, то все равно не найдут, во всяком случае, до сих пор они меня не нашли".

Это высказывание доказывает, что Кафка никогда не следовал за Кьеркегором, и если уж следовал за кем-то, то скорее за Мартином Бубером, который писал: "... Да, женщина находится в связи с земным, и от земного нам угрожает большая опасность, ибо нет большей опасности, чем привязанность к земному. Однако надежда на спасение как раз и зависит от этой опасности, потому что только через эту земную связь идет дорога от человеческой жизни к бесконечности" /1936/.

Пока Кафка чувствует себя сносно, он посещает Высшую школу еврейских наук, слушает лекции о Талмуде, читает произведения, написанные на легком иврите. Именно ради этих лекций он ездит из тихого пригорода в Берлин.

Растущая инфляция в Германии вызывает у Кафки тревогу. Правда, перед знакомыми и друзьями он изображал эту тревогу в юмористической форме. Он, например, изложил мне подробный план о том, как он намерен вместе с Дорой снять небольшую столовую, в которой он будет работать официантом. Впоследствии Дора рассказывала мне, что планы Кафки были связаны с его намерением иммигрировать в Палестину, когда он выздоровеет. Там они вместе с еврейскими поселенцами хотели зарабатывать себе на хлеб физическим трудом.

В Берлине Дора сожгла, по требованию Кафки, часть его рукописей. Он приказал ей это сделать, и она, дрожа от волнения, выполнила это его указание. Много лет спустя, она все еще продолжала сожалеть об этом, но подчеркивала, что и сегодня, оказавшись в подобном положении, она подчинилась бы его воле. Среди сожженных рукописей был рас-

сказ о процессе Бейлиса. Другие бумаги Кафки были конфискованы гестапо и их постигла та же участь.

"10 апреля — черный день, — записано у меня в дневнике, — прибыло сообщение, что Кафку возвратили из санатория в больницу, в Вену. Диагноз — туберкулез горла. Ужасный, несчастный день".

В больнице он не имел отдельной комнаты, и Верфель отнесся к нему с большим участием, он обратился к профессору с просьбой улучшить его условия, на что профессор ответил: "Некий Верфель написал мне, что я должен что-то сделать для некоего Кафки. Я знаю, кто такой Кафка. Это — пациент из палаты №12, но кто такой этот Верфель?"

В субботу 11 мая я приехал в Вену, чтобы повидать Кафку, как выяснилось вскоре, в последний раз. Перед обедом он был в бодром состоянии духа, и я не мог смириться с мыслью, что потеряна всякая надежда. Первое, что рассказала мне Дора, — это то, что Кафка просил ее руки и послал ее религиозному отцу письмо, в котором объяснял, что он, правда, не еврей, преданный всецело вере, но еврей, которого можно рассматривать как возвращающегося к истокам. Поэтому, он надеется быть принятым в круг семьи человека, "возносящего очи к небу". Отец поехал с письмом к раввину за советом, тот прочитал письмо и сказал единственное слово: "нет", без всяких объяснений. Кафка увидел в письме отца Доры печальное предзнаменование. Хотя он и улыбался, было видно, что оно произвело на него тяжелое впечатление. Мы пытались отвлечь его внимание, но Дора вдруг отозвала меня в сторону и шепнула на ухо, что каждую ночь появляется в окне Кафки сова — птица смерти.

Оба они — Кафка и Дора — удивительным образом соответствовали друг другу. Религиозная традиция, связь с духовным наследием восточно-европейского еврейства — все это воплощалось в личности Доры и было для Кафки источником восхищения. В то же время она, молодая девушка, которой были чужды ценности западной культуры, преклонялась перед Кафкой, своим великим учителем, и всеми силами старалась понять его, приспособиться к его "странностям".

Преданность, с которой Дора ухаживала за Кафкой, не поддавалась описанию, но и пришедшее к нему благодаря ей жизнелюбие было не менее потрясающим.

Во вторник 3-го июня Франц Кафка скончался. В понедельник /говорят, что и во вторник утром, чему трудно поверить/ Кафка продолжал работать над корректурой своей последней книги "Голодарь". Он дал указание изменить порядок расположения рассказов. Ночью спал, но в четыре утра начал задыхаться, требовал, чтобы дали морфия и сказал врачу: "Умертви меня, если же нет — ты убийца". Потом с силой вырвал трубку, подключенную к сердцу, и бросил ее посреди комнаты: "Теперь больше не будут мучать меня, зачем продолжать?" Врачу он сказал: "Не уходи отсюда". Врач ответил: "Но ведь я не уйду отсюда". Кафка едва слышно сказал: "Но я уйду отсюда".

Кафка не нуждается в защите. Но когда некоторые критики, комментируя его творчество, игнорируют то, что он неизменно утверждал в нем жизнь /наряду с элементом отрицания, который, безусловно, присутствует/, тогда я решительно протестую. Верно, что основное в переживаниях Кафки — это отчужденность и одиночество. Но он видел в одиночестве и ожесточении человека грех, против которого человек должен восстать. Если же он не восстает, придет возмездие, изображаемое им, правда, с некоторым садизмом.

В крайне левых кругах полагают, что при помощи слов возможно избавиться от всего, что пребывает во тьме и тумане, вызывает боль и страдания. Различия /с экзистенциальной точки зрения/ между несчастьем, от которого можно избавиться, и несчастьем, от которого нет спасения, неизвестны этим кругам. Я благодарен Томасу Манну за то, что в своем очерке "Гете и Толстой" он отметил, что в своем письме к Шиллеру, "поэту высшей свободы", Гете пишет: "Очень скоро ты убедишься, как много пользы в твоём интересе ко мне, при более близком знакомстве ты обнаружишь во мне какую-то затуманенность и колебания, которые я не могу преодолеть." Не случайно Кафка считал Гете одним из высших учителей человечества.

Нет, Кафка не был декадентом. Об этом, в частности, говорят приводимые ниже выписки из его дневников.

Первая выписка: "Не отчаиваться даже от того, что не отчаиваешься. Когда кажется, что всему конец, обнаруживаются все же новые силы, и это значит — просто ты живешь".

Вторая выписка: "Льет проливной дождь, стой против дождя, дай железным порывам пронизать твоё тело, скользи в воде, которая вот-вот унесет тебя с собой. Но оставайся крепким и жди, стоя прямо, солнца, которое появится вдруг в своём бесконечном движении".

Третья выписка: "Дано мне получить временное удовлетворение от работы над "Сельским врачом". ... Однако полного счастья я смогу добиться, если сумею возвысить мир на вершины чистоты, правды и вечности".

Настоящая публикация подготовлена на основе отрывков из книг Макса Брода "Жизнь в спорах" и "Биография Франца Кафки". Перевод с иврита С. Левковича. Публикуется с разрешения издательства "Асифрия Ационит".

J. TVERSKY. Antiquarian bookseller

20, Shenkin St., Tel-Aviv, P. O. B. 4356, Israel

КНИГИ, ПЕРЕИЗДАННЫЕ ТИРАЖОМ 200 ЭКЗ. ЦЕНА В US. \$
ПОЭЗИЯ

АЛЬМАНАХ ЛАРЬ. Стихотворения: Алексеева, Азбелева, Белявского, Бутовой, Вагинова, Дмитриева, Кровицкой, Лукницкого, Мануйлова, Подольского, Ричиотти, Вс. Рождественского, Рыковой, Смиренского, Фромана, Чуковского и др. Издание "Академия". Ленинград, 1927 г. (12 долл.)

АРГО — Литература и окрестности. Сатирические стихи, пародии и эпиграммы Вишневского, Гроссмана, Мейерхольда, Шкловского, Олеси и др. Рисунки худ. Рудакова, Москва, 1933 г. (8 долл.)

АХМАТОВА А. У самого моря. Стихи. Петроград, 1921 г. (4 долл.)

БЕЛЫЙ А. Первое свидание. Стихи. Петроград, 1921 г. (6 долл.)

ЛЕБЕДА С. Досуги старого судьи (стихи). Петроград, (1917), (6 долл.)

ЛИРИКА. Первый сборник: Волченецкого, Гальперина, Гиляровского, Лешкина, Захарова-Мэнского, Кочергина, Левонтина, Леонидова, Манухиной, Минаева, Укше, Шварцбах-Молчановой, Ямпольской. Издано только для группы "Неоклассики". Москва, 1922 г. (12 долл.)

ЛИРИКА. Второй сборник. Москва, 1922 г. (12 долл.)

ЛИРИКА. Третий сборник. Тверь, 1925 г. (12 долл.)

ЛИШЕВА С. Тайные песни. Стихи. Москва, 1919 г. (5 долл.)

Мы. Сборник стихов: Бальмонта, В. Иванова, Ивнева, Куликова, Никулина, Пастернака, Рубановича, Рукавишников, Третьякова, Хлебникова и Шершеневича. Издательство "Чихи-Пихи". Москва, 1920 г. (14 долл.)

ПУШКИН А. С. Собрание запрещенных стихотворений. Полное издание (78 стихов). Лейпциг, 1873 г. (10 долл.)

СТЫК. Первый сборник стихов московского цеха поэтов с предисловием Луначарского и Городецкого. Стихи: Антокольского, Адалиса, Антоновской, Арсенева, Арго, Брюсова, Белого, Берендгофа, Балагина, Вечорка, Городецкого, Гербстмана, Зенкевича, Зота, Зубакина, Луначарского, Масс, Минаева, Пастернака, Пяста, Прибудного, Рукавишников, Семейко, Чичерина, Чачикова, Черного, Шенгеля, Ширявец. Москва, 1925 г., (18 долл.)

ТРИНАДЦАТЬ ПОЭТОВ. Сборник стихов: Адамовича, Ахматовой, Гумилева, Зенкевича, Г. Иванова, Ивнева, Кузьмина, Курдюмова, Лозинского, О. Мандельштама, Струве, Цветаевой, Шилейко. Петроград, 1917 г. (14 долл.)

ФРОМАН М. Память. 1924-1926 гг. Стихи. Ленинград, 1927 г. (10 долл.)

ХРИЗОПАС. Литературный сборник изд. "Самоцвет". Произведения: Аллегро, Аничкова, Ариели, Блока, Брюсова, Григорьева, Зилова, Казакова, Нилендера, Ремизова, Садовской, Сидорова, Соловьева, Чулкова, Эллиса, Янтарева. В конце отдел библиографии Блока. Москва, (1907 г.) (12 долл.)

ЭРЕНБУРГ И. Я живу. Редкий сборник стихов. Большинство ни где не печаталось. СПб, 1911 г. (9 долл.)

Выпускаем каталоги антикварных книг ежемесячно. Постоянным покупателям высылаем авиапочтой.



ГЛАЗАМИ МИЛЮКОВА - оккупация Франции и Восточный фронт

Письма П. Н. Милюкова Я. Б. Полонскому /1940 - 1942/

В 1979 году исполнилось 120 лет со дня рождения Павла Николаевича Милюкова /1859—1943/, крупнейшего политического деятеля и мыслителя новой России. П. Н. Милюков был одним из создателей и — с 1907 года — председателем партии конституционных демократов /кадетов/, членом 3 и 4 Дум, министром иностранных дел Временного правительства /до мая 1917 года/, а позднее — в эмиграции — организатором и руководителем ежедневных "Последних Новостей", по праву считавшихся образцовой русской — и не только в эмиграции — газетой.

Капитальные труды П. Н. Милюкова — такие, как "Очерки по истории русской культуры", "Главные течения русской исторической мысли", "История Второй русской революции", "Россия на переломе", "Республика или монархия" и др. — до сих пор сохраняют свое значение.

В русской эмиграции П. Н. Милюков противостоял национальному почвенничеству /которое в 30-х годах сблизилось с идеологией германского нацизма/, антидемократизму, мистике, усилившемуся славянофильству, устремленному к теократии и враждебному идеям социального и научного прогресса.

"Последние Новости", которым П. Н. Милюков отдавал немало сил, выходили до июня 1940 года, когда, после разгрома Франции, они были запрещены. В последние годы существования это была един-

ственная русская ежедневная газета, — монархическое "Возрождение" с 1936 года превратилось в еженедельник.

Адресат писем П. Н. Милюкова — Яков Борисович Полонский /1892 - 1951/, многолетний его сотрудник по редакции "Последних Новостей", автор интереснейшей книги, выпущенной по-французски в 1946 году "Современным центром еврейской документации /CDJC/ — "Печать, пропаганда и общественное мнение в годы оккупации".

Письма Милюкова относятся к драматическому периоду в истории Франции и Европы и, соответственно, в биографии Милюкова — с 15 августа 1940 до 14 октября 1942 года.

Напомним, что в июне 1940 была разгромлена французская армия, вследствие чего немцы мгновенно дошли до границы Испании. В начале июля главой Французского государства стал — с благословения нацистов — Филипп Петэн, получивший неограниченную власть и, таким образом, прекратила существование французская республика, тогда же правительство переехало в Виши.

Как раз в июле находился в Виши эвакуировавшийся туда П. Н. Милюков, ему шел к тому времени девятый десяток. Пришлось срочно ехать дальше, в Монпелье, затем из Монпелье — в Экс-ле-Бен, небольшой курортный город в Савоие.

Письма П. Н. Милюкова комментируют события этого бурного двухлетия — и политические и культурные, и, так сказать, домашние: положение капитулировавшей Франции, начало и течение войны Германии против Советского Союза, трагические поражения Красной Армии и ее — купленные огромной кровью — успехи 1942 года...

Последнее письмо П. Н. Милюкова датировано 14 октября 1942 года. Он умер несколько месяцев спустя — 31 марта 1943 года. Так что это письмо можно, пожалуй, рассматривать как завещание. Здесь сказаны важные слова о русской эмиграции первого поколения: "На Ваш вопрос: "Что ждет эмиграцию", увы, могу только ответить: за немногими исключениями — вымирание. Очень мы и они непохожи друг на друга. Может быть, кто помоложе, пригодятся. Фiliation поколений и прежде была — с перерывами".

С тех пор, как у старого и мудрого Милюкова вырвалось это грустное предсказание, прошло сорок лет. Оказалось ли справедливым его пророчество? Наступила пора в этом разобраться — тем более, что с той поры русская эмиграция выросла за счет второй и третьей волны. Для нынешних изгнанников или беженцев из России пример П. Н. Милюкова поучителен: достойны восхищения и подражания его высокая духовность, постоянные, напряженные поиски ответа на все сложные вопросы современности, гибкость при неумолимой принципиальности, сердечная внимательность к окружающим людям, умение жить событиями своей страны, и одновременно всего Западного мира, непоколебимый демократизм и, наконец, терпимость — величайшая добродетель демократического деятеля и мыслителя.

15 августа, 1940,
Montpellier, 34, Boulevard des Arceaux.

Дорогой Яков Борисович,

Вчера приехали сюда — в самых благоприятных условиях. Оказалось даже, что вагон прямой, и пересадки в Клермоне не понадобилось. Мы оказались в I классе и приплатили; кроме нас в купе был один человек, и в дороге присела его жена с ребятами. Во II классе, как выразился кондуктор, было plus serge*. В Ниме встречал Ратнер** с такси и дорога — очаровательная. Все время ехали по тенистой аллее. Ночью было холодно, и только к полудню началась жара, но мы от нее не страдали. Словом, переезд вполне благополучный.

В пансионе встретили нас торжественно — Волков*** с Могилевским****, и отвели в комнаты. Моя — очень большая и хорошая, обилие света и воздуха; у Ниночки наверху — грязная, ее не успели приготовить. Мебель — в полном беспорядке, ключи и замки не действуют. Но это — в стиле! На меня пахнуло милой Италией, самая улица должна бы называться B-d de l'Aqueduc; по другой стороне вместо домов реставрированный римский водопровод, с огромными пролетами арок. Профану он должен напоминать арки Metro-politain по парижским бульварам, а мне напоминает пейзажи римской Кампаньи. И народ — веселый, склонный к шутке. Носильщик на мой вопрос, что ему дать, ответил: "Сколько хотите". А шофер автомобиля прибавил: "Сверх 100 франков — все приемлемо"... По-провансальски поругивают север за поражение: "Что от них ожидать!" И сразу дышится как-то свободно. Вышел ночью на улицу, точнее, в аллею старых деревьев. Сквозь пролеты акведука светит полная луна! Колизей, да и только!

* Более тесно,

** Сотрудник "Последних Новостей" /"ПН"/

*** Писатель

**** После февраля 1917 года Керченский, а затем Севастопольский городской голова, в эмиграции — сотрудник "ПН" — бухгалтер редакции.

Дописываю это письмо 17-го. Вчера полагался день отдыха — хотя и вовсе не чувствую усталости. Могилевский провел меня в Ботанический сад университета: чудесный парк, совсем не в стиле курортном. Там памятник Рабле и на деревьях — генеалогия огромных тенистых деревьев с датами эпохи Возрождения XVI века. Туда он привел и Волковых. А. И. Коновалов* наконец выбрался в По; он осведомлен о моем приезде и, вероятно, на днях будет тут по дороге в Ниццу, куда везет семью. Сегодня мы условились побеседовать предварительно о делах — во вторую половину дня. Но я отсылаю Вам это письмо, не дожидаясь этой встречи. Как видите, мои первые впечатления от Монпелье — самые благополучные. Ниночка писала в другом духе Поляковой.

Как обстоит с изгнанием "иностранцев"***? Какова судьба Лурье*** и планы остальных? Переселяются ли — и куда? В каком положении "американцы"****?

Сердечный привет всем друзьям в Виши; буду ждать Вашего письма.

С приветом Вам обоим от нас.

П. Милюков

28 сентября, 1940
34, Boul-d des Arceaux, Montpellier

Дорогой Яков Борисович,

Очень рад был получить Ваше письмо от 27-го. Было ли только августовское письмо или были и другие недошедшие? Если верно Ваше толкование, то, может быть, со временем, при разгрузке, я еще его получу.

* Общественный деятель, кадет, член Временного правительства, в эмиграции — председатель "Совета общественных организаций"
** Имеются в виду судьбы французских и русских евреев после поражения Франции.

*** Богатый общественный деятель, поддерживавший "ПН".

**** Русские эмигранты, после победы немцев решившие эмигрировать из Франции в США.

События, действительно, движутся быстро. И я не имею оснований раскисать в своем "оптимизме". Мы сейчас достигли нового этапа, и прогнозы приходится строить на зиму. Вы правы, что намеченный мною срок нужно отодвинуть теперь до весны. Меняя перспективу, что, однако, не меняет существа дела. Напротив, самая эта отсрочка есть уже выигрыш — и немалый. Личные интересы приходится при этом, конечно, подчинить общему ходу дела.

"Больны Америкой" — это правильное выражение. Не знаю, критиковать ли Вас за то, что Вы "этому поддались". Вы — один из немногих, которые смогут не без труда и риска привиться в Америке. Но Вы правы и в том, что этот исход, лично могущий удасться, предполагает — внезапное или невнятное — равнодушие к тому, что произойдет дальше в Европе. Как и Вы, я с этим не могу примириться, и это и есть основной мотив, почему я протестовал против Америки. Американцы, со своей стороны, отлично это понимают. Я читал в здешних газетах выдержку из *New-York Times*, которая очень хорошо формулирует мою мысль с другой стороны. "Эти люди навсегда останутся европейцами, и американцами не станут. Они поэтому нам не нужны". Между прочим, Фондаминский* уже вернулся в Париж. "Современные записки" в Америке, по-моему, совершенно невозможны /кажется, вопреки мнению Марка Александровича/**

Я знаю о невольном разезде из Виши; но теперь и в Montpellier стало тесновато, и новые приезжие встречают уже затруднения, — правда, не непреодолимые. Наши беседы в Виши для меня остались незаменимы, не только по нашему составу, но и по скудости материала, сюда доходящего. Мы больше слышим здесь из Парижа, чем из Виши. В *Cafe Grillon* я отнюдь не "регулярно являюсь" и был только раз. Даже и оно опустело, так как в кафе больше не дают кофе после 3-х часов. То, что там узнается интересного, мне регулярно сообщают. Но это — уже не то. Вот пример: в Виши, наверное,

* Публицист, критик, погиб в гитлеровском концлагере /1880—1942/

** Писатель Марк Алданов /псевдоним Ландау/, автор многочисленных исторических романов /1882 — 1957/

уже кишат слухи о цели последней поездки в Париж. Мы пока ничего не знаем. Но у Вас, видимо, тоже скудно, если Борис Суворин* /признаться, я думал, что он уже на том свете/ служит в роли оракула. О собраниях Оскара Ос.** впервые узнаю и как-то не верится. К старой титулованной русской колонии, говорят, у Вас присоединилась "иностранная" нуворишская; и даже Зелюк*** от нее воротит нос. Правда?

Проект "единой партии" пережил несколько этапов и теперь, очевидно, назначен на слом: старые идеологи этой идеи отстранены, а этот Деа**** их заменить не может. Он это понял — и поехал искать счастья в Париж. Можно обойтись и без "партии", и даже не "временно".

Ниночка все еще в своем курорте Лималу, хотя 3-го возвращается. Перешлю ей Ваш привет, а от нея и от себя посылаю наш сердечный привет Вам обоим.

Ваш П. Милюков

28 декабря, 1940

Дорогой Яков Борисович,

Вы совершенно правы, что ликвидация "предприятия" "Посл. Нов." вовсе не есть ликвидация самой идеи. Я всегда настаивал на сохранении этой разницы, и она принята всем составом правления. Но Вы не совсем правы относительно возможности возобновить газету при в с я к и х материальных условиях. Верно, что в нашей "биографии" были моменты крайней нужды, особенно памятные мне, которому приходилось именно в эти моменты искать средств. Но начинали мы не с этого, а с определенной цифры, внесен-

* Писатель

** Адвокат Оскар Осипович Грузенберг /умерший в Ницце в 1940/

*** Издатель

**** Политический деятель и журналист, один из главных ставленников Гитлера в Париже, редактор пронацистской газеты "Эвр" и основатель партии коллаборационистов

ной русским политическим деятелем, — цифры довольно значительной*. Без такой исходной цифры нельзя было бы и думать начинать газету. Вот почему и наши теперешние старания направлены, помимо удовлетворения нужд сотрудников, также на сохранение необходимого для такого начинания капитала. Надо сказать, что и другие условия возобновления газеты не так благоприятны, как тогда. Тогда был определенный политический момент, который прошел; потребность в газете нашего направления чувствовалась, и мы ей удовлетворяли. Теперь наши читатели разбежались во все стороны. Неизвестно, когда, в каком числе и откуда они соберутся.

Совершенно согласен с Вами, что в случае "восстановления" газеты это должно быть и ее "обновлением". В последние годы я особенно чувствовал, что газета становилась в идейном отношении не тем — или не совсем тем — чем мы хотели ее сделать. Упал первоначальный энтузиазм, связывавший сотрудников и обеспечивавший единство направления. Вошли чуждые элементы, которые постепенно сплотились и, выдерживая установившуюся дисциплину, тем не менее налажали на газету свою печать. Я это очень больно чувствовал, хотя и понимал невозможность какой-либо крутой перемены. По терминологии Марка Александровича, газета шла ускоренным темпом от "группы А" к "группе Б".

Хотя браваре Дмитрия Карамазова, родного брата Солоневича**, я не могу сочувствовать, но разочарование наших "американцев" вполне понимаю: я же его им предсказывал. Однако кое-кто там уже устроился и, вероятно, не вернется.

Мой оптимизм не гибнет, а, напротив, крепнет. Симптомы, которых я ожидал, проявляются все более отчетливо и увеличиваются в числе. Последние сведения из Парижа: уже назначают своим знакомым свидания весной.

За сообщения и цитаты о Солоневиче благодарю. В свое время мне прислали один номер его издания, и с общим ха-

* В 1920 году М. Д. Волынский и М. Л. Гольденштейн получили около полумиллиона франков на издание русской ежедневной газеты от М. С. Залушина.

** Солоневич И. Л. /1891 — 1954/, писатель, журналист.

рактером его я уже знаком. Отношение Солоневича ко мне для меня тоже не вполне неожиданно: его сотрудничество не было все же вполне случайным и, очевидно, оставило следы, которые и выявились, когда он оказался в роли Даниила во рву с зверями. Конечно, он умнее и сложнее своих "штабскапитанов", но тут заговорил не один ум, а и какое-то подпочвенное уважение к культуре. Цитаты из Солоневича, Вами приводимые, тоже очень сочные. Но что он так далеко пойдет в моей защите от правых, я, признаться, не ожидал.

Вы, конечно, уже знаете о кончине Грузенберга у Вас в Ницце. Умер человек большого таланта и, главное, человек честный. Я рассчитываю, что еврейская среда, забыв свои счеты, сделает что-нибудь для увековечения его памяти.

Хотел бы поздравить Вас с праздником и с Новым годом, но ограничиваюсь выражением надежды, что Новый год исправит кое-что из того, что испортил старый, и покажет истинное лицо Франции, как мы привыкли его видеть.

Сердечный привет Вам обоим от нас.

Ниночка просит сообщить Любви Александровне*, что она ей писала еще в Виши, но Вы, вероятно, тогда уже уехали.

Ваш П. Милюков

20 марта, 1941
Montpellier

Дорогой Яков Борисович,

Спасибо большое за Вашу обстоятельную справку у комиссара в Ницце. Меня очень привлекают две русские библиотеки в Ницце, про которые мне постоянно говорят с похвалой. Ваш совет относительно отеля очень правильный. Против нашего переселения в Ниццу очень решительно высказывает-

* Любовь Александровна — жена Я. Б. Полонского

ся Цвибак*, ссылаясь на усиливающийся голод и на предстоящую летнюю жару. Наш отъезд отсюда далеко еще не решен; но, я думаю, в ближайшие недели должен решиться в том или другом смысле. Трудно отсюда сниматься, так как у нас много багажа; но это, конечно, соображение второстепенное. Ваши наблюдения над жизнью наших новых поселенцев в Америке, по моему, очень метки и правильны. Про Ал. Ф.** нам рассказывают, что его дама энергично работает над его воцарением на опустевший престол. Говорят только, что результат получается комический и печальный для русской эмиграции, несмотря на все прелести расширенного "салона" австралийской мадам.

У нас по-прежнему мало экстренных сведений о развязке. В газетах читаем, что она полагается на май. Это — правдоподобно. Внутри — читали ли Вы речь Каркопино*** и фразу в Гренобле, что "8 месяцев лучше научили ценить положение"? Это — знаменательно, и совпадает с моими прогнозами. Конечно, речь идет пока лишь о компромиссе, но очень исключительном. И, конечно, профессор, некогда любимый учениками, в Париже трактуется теперь не очень любезно. Но это не меняет интереса к его декларации.

Привет от нас Вам обоим
Ваш П. Милюков

3 апреля, 1941
Montpellier

Дорогой Яков Борисович,

Я получил Ваше письмо в момент, когда пришлось круто повернуть с нашим планом переезда в Ниццу. Доктор мне

как "кардиаку"*, решительно запретил туда ехать. И мы вернулись к мыслям о Савоие, куда нас тянула Ек. Дмитр**. Ниночке был знаком Aix-les Bains по ее прежним поездкам, мы туда написали ее знакомой хозяйке /Hotel de la Paix, Rue Lamartine/ и получили благоприятный ответ: есть две комнаты за ту же цену, какую платим здесь, т. е. для Aix'a весьма скромную. Итак, мы собираемся туда переехать около 10 апреля. Сборы нелегкие, так как у нас уйма багажа еще из Парижа, да здешние букинисты меня порядочно отяготили книгами по дешевке. Сердце не камень! При теперешних условиях перевозки — это большое затруднение, да и самый переезд не легок. Колеблемся между путем через Валенс или через Лион. Из Aix пишут, что через Лион есть два прямых поезда; здесь говорят, что оба перегружены, и предстоят, если не три, то две пересадки, причем не исключена возможность ехать стоя.

Здесь нам сократили питание до невозможности: существуем как раз тем, чего Вы избегаете. Говорят, в Aix пища гораздо обильнее, есть молоко, масло, мясо. Словом, несмотря на все трудности, уезжаем туда с удовольствием.

Из Парижа получено известие, что наша квартира est en train d'etre videe***, что это может распространиться на другие виды нашего имущества. Последнее предположительно, первое — наверное. Ждем подтверждения, хотя, кажется, ждать нечего.

Литературное достояние О. О. Грузенберга, как пишет мне Герман, передается в заведование Познера****, что, конечно, лучше предыдущих комбинаций. Я советую образовать комитет в Америке.

* Цвибак Яков Моисеевич — Андрей Седых, журналист, в настоящее время — главный редактор и издатель ежедневного "Нового Русского Слова" /Нью-Йорк/.

** Ал /ександр/ Ф /едорович/ Керенский /1881 - 1970/ — глава Временного правительства в 1917 году.

*** Каркопино Жером /1881 - 1970/ — французский историк Греции и Рима, был в 1940-41 гг. министром просвещения в правительстве Петена, в то же время тайно поддерживал Сопротивление.

* "Сердечник" /фран./

** Екатерина Дмитриевна Кускова — правая соц-демократка, жила эмиграции во Франции, а с начала войны — в США.

*** В процессе очищения /франц./

**** Журналист, историк /1878 - 1946/

Сведения оттуда о наших "американцах" подтверждают Ваши. Гарцуют Николай Дмитр. и Ал. Фед. — больше перед своими же. Мало кто пристроился. Боюсь, как бы Дан* не нашел приложения своим идеям. Там ведь слова быстро переходят в дело.

Здесьние сведения слушаем, читаем — и радуемся — ускорению темпа**. Рано уехала моя библиотека. А, может быть, это — тоже признак ускоренного темпа?

Сердечный привет от нас Вам обоим.

Пишите по новому адресу:
Aix-les-Bains, Hotel de la Paix.

Ваш П. Милюков

8 мая, 1941

Aix-les-Bains, H6tel de la Paix, Savoie

Дорогой Яков Борисович,

Очень рад, что передрыга с Лялей*** закончилась сравнительно благополучно, и очень жалею, что мы не встретились в Montpellier перед нашим отъездом. Здесь, действительно, мы чувствуем себя гораздо лучше и обстановка жизни много культурнее; пища скудна, но кухня лучше. К тому же, к открытию сезона хозяева подтягиваются и разнообразят меню. Одного — и очень важного — не хватает: общения с друзьями. Один заключенный в гитлеровскую тюрьму говорил, что на полуденной прогулке у них устраивается полуденная "биржа", т. е. обмен новостей и мнений между заключенными. В Монпелье у нас такая "биржа" была каждый день — и сте-

* Дан Федор Ильич /Гурвич, 1871 — 1947/, публицист, один из лидеров меньшевиков, с 1941 г. издавал в США журнал "Новый путь" /орган меньшевиков-эмигрантов/. Милюков имеет в виду, что Дан может воспользоваться положением эмигрантов и привлечь их в свой марксистский журнал.

** Т. е. антинацистской борьбы — патриотического движения генерала Де Голля.

*** Сын Полонского, Александр Яковлевич.

ны тюрьмы расширились до пределов города. Здесь, увы, "биржи" нет, и впечатление заключения усилилось. Остается — переписка.

Спасибо за сообщение о парижской и американской печати. Бандероли я пока не получил, думаю, причина этого — Ваше вложение. Несколько номеров "Н. Слова"* я имею, и они производят на меня то же впечатление, как на Вас. Новая эмиграция — отрезанный ломоть. Старая — живет прежней жизнью и, по-видимому, по обоюдному, молчаливому согласию своих рядов не раздвигает для новых пришельцев, — за исключением "докладов", которые laudantur — et algent!

Очень заинтригован "книжной" стороной Вашей экскурсии в Montpellier. Во-первых, заключаю из нее, что Ваши книжные сношения возобновились, а, во-вторых, интересуюсь тем, что Вы там нашли. Я познакомился там с двумя "хорошими" букинистами и с третьим — простецким; у последнего нашел разрозненную библиотеку какого-то профессора и закупил за гроши разных классиков, которые делают вид моей новой библиотеки, томиков в 200! Это уже зерно четвертой или пятой, которое меня утешает от потери третьей или четвертой... А главное — то, что ни одной из купленных книг не найдется в библиотеке потерянной, и я льщу себя надеждой, что при эвентуальном возврате ее — дублетов не будет. За неимением других утешений можно остановиться на этом.

Деньги пришлю немедленно, как переведу нужную сумму из Монпелье. Все хотят мандатов и не хотят возиться с чеками. Отсюда — задержка.

Что пишет Марк Александрович? В Neue Zürcher вижу перевод его "Могила воина".

Сердечный привет от Ниночки и меня Вам троим
Ваш П. Милюков

* "Новое Русское Слово"

Комментарий Я. Б. Полонского

Я писал П. Н-чу, что у нас произошла неприятная история с нашим сыном Лялей. Его исключили из лицея за ношение лотарингского креста /эмблема Де Голля/. Нас это очень огорчило, т. к. мы думали, что перед ним навсегда закрыты двери средней школы. Но, наконец, удалось его устроить в католический лицей. С другой стороны, я собирался в Монпелье по книжным делам и предвкушал удовольствие от предстоящей встречи с Милюк. Увы, оказалось, что он уехал до моего приезда.

31 мая, 1941

Aix-les-Bains, Hôtel de la Paix

Дорогой Яков Борисович,

Очень рад был получить Ваше письмо от 15 мая с описанием Вашей книжной экспедиции по Лангедоку и, признаться, очень Вам завидовал. Мои капиталы, правда, не позволяли мне очень увлекаться серьезными находками, и потому два букиниста в Монпелье, которых Вы исследовали, были сравнительно мало мне доступны. Третий, которого Вы не нашли, напротив, оказался богат материалом, на который я установил таксу, — по 3 франка за книгу /он в конце стал сердиться, что я у него обесцениваю товар, но там была старуха, его жена, с которой мы вели разговор о политике/. Весь его материал, впрочем, помещался на одной полке; но тут была библиотека какого-то латиниста, профессора и культурного человека на рубеже столетий, и я накупил классиков латинских и французских и кое-каких случайных книжек — небезынтересных; кое-что и подчитал на досуге; между прочим, усовершенствовал свой испанский язык, пополнил свои знания в старой французской литературе, впервые прочел Лукреция, перечитал Гастона Буассье, мою любимую книгу о религии эпохи Антонинов, Veüle... и т. д. И все это — благодаря моему трехфранковому букинисту или, точнее, его севдвласой любительнице политики.

Ваше сообщение от Марка Ал. о толстом журнале в связи с моими мемуарами меня очень смутило. Во-первых, в длительное существование толстого журнала в Америке я плохо верю, а мемуары — вещь громоздкая, и часть их — пересказ того, что было уже в "Р. Записках" — дописана только до разгона первой Думы, и уже — страниц триста печатных. Во-вторых, единственная рукопись, которую надо переписать на машинке, чтобы послать, а это стоит денег. В-третьих, наметилась возможность английского издания /очень неверная, правда/, как бы статьи по-русски не помешали. В-четвертых, толстый русский журнал из Америки не разойдется, и цельность погибнет. Если бы могли они напечатать целиком и подешевле, т. е. в Европе, и перевезти, сколько нужно, в Америку, это было бы другое, но тогда причем тут толстый журнал? Словом — не подойдет.

Простите, что задержал Illustration*, теперь посылаю — и со вложением.

"Могила воина" я видел в Zürcher, которую иногда покупаю, и порадовался за Марка Александровича. "Р. Слово" присылает мне иногда Даманская**, и я вижу по нему, что старая и новая русская эмиграция, как я и ожидал, друг друга знать не хотят и друг к другу не подходят. Нет наших читателей в Америке; придется читать друг друга!

Интересно Ваше сообщение о газете Гукасова*** устной /и м. б. печатной?/. У этого наберется читателей побольше, чем во всей Америке, в одной Вашей Ницце — среди бывших людей.

О внешних событиях, увы, приходится очень огорчаться. Надежды мои не потеряны и оптимизм — в далеком аспекте — не утрачен, но каждый день в близком аспекте — какие удары! О Ваших "беглецах" ничего не знаю. Москва — верна себе; по-моему, она будет сидеть на месте и хорошо сделает.

Ваш П. Милюков

* Популярный буржуазный журнал, возобновившийся вскоре после перемирия 1940 года и ставший в сентябре 1940 г. вдохновителем антисемитской кампании во Франции.

** Писательница

*** "Возрождение"

18 июля, 1941

Aix-les-Bains

Дорогой Яков Борисович,

Вы меня обвиняете, что я не ответил Вам на Ваши принципиальные вопросы в письме от 26, 6. Я его отыскал: мне кажется, что в общем смысле я ответил, что испытываю то же, что Вы: и "надежды" и "тревоги". Теперь вторые усилились, но и первые не исчезли. Общая солидарность оказалась сильнее, чем можно было опасаться; вопрос только, насколько она создана патриотическим чувством и насколько страхом, дозы которого, видимо, приходится усиливать. А мои "прогнозы"? Вы сами теперь видите, насколько возможно их делать! "На далекое время" — да: Россия останется Россией. Но "на ближайшее"? Кто мог предвидеть, что безумие направится в эту сторону? Хочется верить, что здесь ему и конец, и наша хронологически-географическая миссия будет исполнена. Современная география осталась та же, но хронология сильно сократилась. Борьба скифов с царем персидским происходит при несколько иных условиях. Все-таки надеюсь, что результат будет прежний.

Ал. Фед.* предлагает не только "сплотиться", но прибавляет к этому: "сплотиться около него". Это уже менее приятно. Ваши ниццкие кандидаты, будем надеяться, останутся тоже за флагом. Что же остается? Может быть, и у нас заведутся "зоны" с Квислингами? В р е м е н н о — все возможно, и все предсказания — преждевременны.

Об моем здоровье что же писать? Я чувствую себя прекрасно: падение веса не только прекратилось, но даже имеется маленькое увеличение, правда, очень непрочное в связи с вариациями питания. Но — держусь на лекарствах от сердца, и еще прибавилось "предупредительное" лечение от простаты. То и другое находится в состоянии улучшения сравнительно с Монпелье.

* Керенский

Я принялся за серьезную работу по поручению Америки, кажется, я писал Вам об этом. Но — книги, книги! Даже своей *Politique etrangere des Soviets** никак не могу достать из Парижа. Придется осенью куда-нибудь перебраться в университетский центр.

За Ваши красочные описания "зубров" премного благодарен и еще раз благодарю за "Ежегодник". Но других томов /особенно нужен 1916/ добиться не могу ниоткуда.

Сердечный привет от нас
Вам обоим
Ваш П. Милюков.

1 августа, 1941

Aix-les-Bains, Hotel de la Paix

Дорогой Яков Борисович,

Получил Ваше письмо от 29-го, по обыкновению, обстоятельное и чрезвычайно интересное. Вербовка служащих для будущей администрации — это шедевр! Очень жаль этих несчастных, если они в самом деле получают прогоны и будут доставлены на места служения. Но мне все еще в это не верится. Взятие трех столиц, несмотря на газетную Вампуку, дело не завтрашнего дня. И не только дело в "выигрыше времени". Процесс "выдыхания", конечно, связан со временем, но он, кажется, даже опережает время. Во всяком случае "хвататься" можно пока не за тонкую ниточку, а за толстый канат.

О "некоторых оттенках" я сам не помню, что писал.

Занят я теперь не "Мемуарами" /которые довел до роспуска 2-й Думы— и остановился за недостатком материала/, а работой для Карнеги** на тему о последних 25 годах русской и советской дипломатии. Очень трудно с книгами. Свою соб-

* Иностранная политика Советов

** Американский издатель-миллионер

ственную книгу я выписываю через здешний книжный магазин, тоже обещают, проходят недели, а книги нет. За Ваши адреса — спасибо; вероятно, придется прибегнуть и к ним. Из городов, должно быть, остановлюсь в Гренобле. Настраивают друзья на Швейцарию, хорошо бы, но дорого.

О единстве принципа для изъятия из обращения трудно догадаться. Кажется, этим принципом служит — донос из русской среды. Я, вероятно, занял бы там место рядом с Одинцом*. И тогда начал бы, пожалуй, жалеть об Америке. Но пока — держусь твердо.

Если натолкнетесь в Ницце на какие-нибудь материалы, пригодные для моей темы, дайте знать. Но их так много, что не знаешь, о чем просить. Очень бы мне помогли "Ежегодники", "Речи", но пока получил только 1й выпуск. Других нет ни у Вас, ни в Париже. Нужна книга Таубе**, изданная в "Bibl. Slave". Может быть, пришлют из Парижа. Нужны бы были мемуары Сазонова. О всяких желтых и синих книгах не смею и думать, так же, как и об английских работах по этому периоду, которыми дразнит Элькан***. И приходится испытывать танталовы муки. Все-таки, написал вступительную главу...

Жаль очень Игоря****. Может быть, он нашел свое успокоение в вере и по-своему счастлив. Мне писали раньше, что он постоянно сидит у окна, смотрит — и думает. Теперь ему разрешили короткие прогулки. Но возвратить его в этот мир, по-видимому, поздно. А он так исключительно любопытен — именно теперь! Исполинский эксперимент кончат-

* Профессор-юрист, историк, сотрудник "ПН". В 1947 г. вернулся в СССР.

** Таубе Михаил Александрович — барон, профессор-юрист, специалист по международному праву и член Гаагского трибунала. В конце 1941 г. гитлеровские власти назначили его главой французского бюро по делам русских беженцев.

*** Анна Маврикиеена Элькан — вдова видного врача Элькана, дочь доктора Абельмана, державшая литературный салон.

**** Игорь Платонович Демидов — земский деятель, журналист, с марта 1924 г. — помощник редактора "ПН".

ся исполинскими средствами, а Россия под ним — все та же! Тут корень моего оптимизма: ее не переделаешь!

Привет от нас обоих Вам и Любви Александровне
Ваш П. Милюков

Примечания Полонского

Содержание моего письма от 29. 7.: Идет 6-я неделя войны, и хотя это обстоятельство само по себе еще не может служить основанием для оптимистических выводов относительно исхода, однако, это все-таки выигрыш в р е м е н и, а мы хватаемся за всякую надежду.

Из Америки М. А. /Алданов/ пишет, что они все стоят на оборонческой позиции с некоторыми оттенками. Каковы эти оттенки, можно только догадываться по персональному составу. А в это время наши правые складывают чемоданы и готовятся ехать в Россию на должности управителей. Желаящим выдаются опросные листы и обязательства для подписи и разъясняют на последнем сеансе устной газеты, что прогоны и подъемные будут своевременно выданы. Из Парижа пишут, что изъятые из обращения новые имена /Ростовцев, Дуров, Чекунов/. Игорь Платон мне прислал пессимистическую открытку — ни на что не надеется больше и завидует тем, кто отошел в иной мир. По-видимому, причины такого настроения надо видеть в его религиозном мировоззрении.

23 августа, 1941
Aix-les-Bains, Hotel de la Paix

Дорогой Яков Борисович,

Вы правы, газеты "не радуют". Но надо брать единичные факты в общей рамке и в общем освещении. "Zürcher" значительно исправляет отрывочные сведения здешних газет: впечатление получается более уравновешенное. А главное: время тянется. Сейчас девятая неделя вместо намеченных

четырёх. И потери другой стороны, о которых не рассказывают. И настроение на этой стороне, о которой только что получил сведения из первоисточника. Элькан Вам расскажет по возвращении много интересного.

Ваша цитата из А. И. Тургенева производит здесь фурор. Действительно, "преднасладимся", "успокоимся насчет будущего".

Друзья Марка Ал. меня очень радуют. Там надо реагировать против бесстыдной агитации Алекс. Фед. Была выдержка из его интервью в "Life" — и "Paris-Soir". Заметили? Каков гусь! Только вот насчет "века золота" сильно сомневаюсь. Золота там много, но отвешивают его с большой осторожностью.

Как Вам живется /помимо ярких впечатлений справа/? О себе Вы ничего не пишете, а хотелось бы знать. Как здоровье Ваше и супруги? Как питание? У нас Ниночка болела гриппом неделю, но теперь поправилась.

Сердечный привет и пожелания от нас Вам обоим.
Ваш П. Милюков.

Комментарий Я. Б. Полонского

Я писал П. Н-у, что, просматривая в "Русской Старине" за 70 годы корреспонденцию А. И. Тургенева, наткнулся на одно знаменательное место и не могу себе отказать в удовольствии привести его. Это письмо Т-а от 27 окт. 1812 года к кн. П. А. Вяземскому: "... Но Москва снова возникнет из пепла. Ея развалины будут залогом нашего искупления — нравственного и политического., а зарево Москвы, Смоленска и пр. рано или поздно осветит наш путь к Парижу. Это не пустые слова, я в этом совершенно уверен и события оправдают мои надежды. Война, сделавшись национальной, приняла теперь такой оборот и т. д... наконец пример народов... Мы преднасладимся и т. д. Сильное потрясение России" и т. д.

4 сентября, 1941

Aix-les-Bains

Дорогой Яков Борисович,

Отсюда меня тянут на зиму в две противоположные стороны. С одной стороны, в Гренобль, где есть хорошие библиотеки: университетская и муниципальная. С другой — в одно местечко около швейцарской границы /Monnetier-Mornix/, откуда Ек. Дм. соблазняет разрешением читать в Женевской библиотеке. Пока нахожусь в положении Буриданова осла между двумя стогами сена, — и продолжаю свою добровольную голодовку.

... Об интервью Ал. Фед. в "Life", к сожалению, только и запомнил его заявление, что Сталин "находится на вулкане", и этот вулкан немедленно взорвется, — очевидно, чтобы очистить ему место!.. Надо сказать, что и Ек. Дм. тоже ждет немедленной ликвидации и даже зовет меня в Женеву для совещаний с С. Н. Увы, мой оптимизм так далеко не идет. Но ведь насчет конца войны я все время держался того же мнения, как и Любовь Александровна. Все еще не отказываюсь от этой ереси.

Вам, конечно, легче было бы устроиться в Америке, нежели другим. Но мотив, который Вы приводите, меня печалит. Разрешите коснуться деликатного вопроса. Мне говорили, что с Вами разговаривали о поддержке Тейтелевского комитета, но Вы отозвались очень уклончиво. Может быть, можно бы было возобновить эти переговоры? Я мог бы тогда предложить себя в посредники. Это, быть может, не решит дела, но даст возможность отсрочки; а мы все теперь живем на отсрочках чего-то, что должно произойти более или менее скоро: только — когда? Отзовитесь, пожалуйста, на эту тему — и простите, что вторгаюсь, быть может, в запретную область.

Сердечно Ваши оба
П. Милюков

9 сентября, 1941,
Aix-les-Bains

Дорогой Яков Борисович,

... Наши колебания между Греноблем и Верхней Савойей еще не кончились. Но я, кажется, нашел новую заручку: в Женеву перебралась Academie Diplomatique Internationale* со своим секретарем, и я с ним списался. Я там состою членом, а он, по-видимому, тоже наезжает в Женеву из Аннемаса.

Очень интересны Ваши сведения о возглавлении "русской эмиграции" и церковных делах. Отблагодарю Вас цитатой из "русской" газеты в Берлине, которую только что получил из Монпелье. "Русский народ, очевидно, начал в годы большевистского владычества, по крайней мере, частично, идентифицировать себя с режимом. Среди масс создан даже своеобразный советско-русский патриотизм. Тот факт, что русский народ не захотел восстать против своих поработителей-большевиков в момент вступления германских войск на русскую территорию, лишает его права участия в решении своей судьбы, каковая будет определена исключительно Германией и ее союзниками сообразно интересам Рейха". Русскую эмиграцию этот официоз горько упрекает за то, что она ложно оценила борьбу Германии против большевизма, как борьбу против России, что сердцем эмиграция стала на сторону большевиков, оценивая их, как защитников отечества. Вот почему и эмиграция не будет иметь голоса при решении судеб России /сообщ. Ал. Абр.**/.

Как Вам нравится? Начали, наконец, понимать кое-что. А последнее заключение? Я его сблизжаю со своей догадкой, что кого-то спрашивали по этому поводу и, м. б., что-нибудь предлагали. И продолжение моей загадки, что не получили удовлетворительного ответа. И наконец второе продолжение: возвращены по месту жительства — с ограничением передвижения...

* Международная Дипломатическая Академия / франц./

** Александр Абрамович Поляков — главный редактор "Последних Новостей", впоследствии — "Нового Русского Слова".

А ведь и другая догадка — моя с Любовью Алекс.: читали ли Вы речь канадского премьера и толки берлинских заграничных журналистов, уверяющих, что надо ждать сюрприза и что "в военном или в дипломатическом порядке не исключено, что Берлин ищет окончательного решения"?

Мои "советы и указания" по поводу Вашей работы? Это слишком торжественно. Тема громадная и, конечно, заслуживающая изучения. Но мои "указания"? Кое-что найдется в книге Naumant. У меня была более старая французская книга о французских эмигрантах в России и русских во Франции, но имени автора не помню; может быть, отыщу и сообщу Вам. Где переписка Николая Тургенева в бытность его во Франции? По-моему, недостаточно было обращено внимания на впечатления о Франции Фонвизина и Карамзина. В исторических журналах Вы, наверное, уже нашли кучу материала. Между прочим, Познер мне пишет, что хорошо бы было посадить кого-нибудь из не знающих, чем занять время, на историю русской эмиграции в Ницце. Идея хорошая! Не для Вас, конечно. Но может быть, кого-нибудь из незанятых можно было бы посадить на нее?

Анна Мавр., наверное, привезла Вам кучу рассказов из Экса о нашем житье-бытье в нем. Ниночка с ней очень подружилась, и я был рад появлению человека из нашего старого круга. Она привезла мой мотивированный отказ от предложения Вал. К.* и Евг. Фр.** Но Жеребков*** радикально решил дело за нас. Думаю, все же, что эта категория русских берлинцев еще менее в фаворе, чем разные первые нумера из потонувшего мира. Не его спрашивали о настроениях "русской эмиграции" — и разочаровались их уклончивостью. Говорили, ведь, что к этой категории относится и обитатель Сен-Бриака****, ныне водворенный по месту жительства.

* Валерий Константинович Агафонов — профессор-геолог, кадет, общественный деятель.

**Евгений Францевич Роговский — аферист, спекулянт, жил на юге Франции.

*** Во время оккупации возглавлял Бюро по русским делам, фактически гитлеровский гаулейтер по русским делам во Франции.

**** Великий князь Владимир Кириллович /Романов/, претендент на Российский престол.

А как Вам нравится двойное наступление, с севера и с юга, на Бока? Как нравится Рогачев, Бобруйск и Березина, опять выплывающие в очередных телеграммах? Я все спрашивал себя, откуда начнется отступление. Неужели оттуда? Это уже превосходит все мои ожидания.

Сердечно Ваш П. Милюков

Примечания Я. Б. Полонского

*Я писал о том, что в Париже назначен фюрер русской эмиграции, что карловацкий епископ Серафим признан главой русской церкви во Франции, что Евлогий устранен и т. д., что В. князю Вл. Кирилл, запрещено покидать Сен-Бриака.**

"Возвращены по месту жительства с ограничением передвижения." — относится к Вел. Кн. Владимиру Кирилловичу. "А вот и другая догадка — моя с Люб. Ал." — намек на то, что Люба и он считают, что война окончится еще этой зимой.

21 ноября, 1941

Hdtel International, Aix-les-Bains, Savoie

Дорогой Яков Борисович,

Спасибо за письмо от 6 ноября и за обильные цитаты, там приведенные. Они, действительно, свидетельствуют о психологических переломах и приспособлениях, произведенных ходом событий, и очень поучительны.

Задержал я ответ Вам потому, что это время мы возились с переездом в другой отель. Пришлось платить гораздо дороже, но невыносимый холод и угроза зимы заставили нас покинуть Hôtel de la Paix даже с риском расстройства бюджета. Здесь по крайней мере тепло, и мы не рискуем разными заболеваниями. У Ниночки все же сказался ревматизм, приобретенный в старом помещении. Мое здоровье совершенно

благополучно. Дали нам пока временные комнаты в ожидании освобождения лучших. Ниночку уже поместили окончательно, но я в своей маленькой комнатке все не могу разложиться, и мои письменные принадлежности только теперь выкапываются из-под спуда ящиков с книгами /таки обзавелся!/ и газетных вырезок. Этим объясняется и расстройство корреспонденции.

Но вернемся к более интересным вопросам. "Выжидательство" известной части эмиграции, по моему мнению, объясняется тем, что чающие движения воды получили не то, чего ожидали, и растерялись. Вместо "освобождения" — новая администрация — и полный отказ от использования изголодавшихся кандидатов на должности. Что будет? Поделят или не поделят? Где границы? Позовут или обойдутся своими /или местными/ силами? Разочарование должно быть очень глубокое — и не только у "музейных экспонатов".

Что касается цитат из берлинской газеты, они не менее характерны. Тут уже слышатся отголоски разочарований не эмигрантских, а победительских. И последние получили не то, что ожидали. Но они свободнее в своих прогнозах и диагнозах — и потому пронзительнее и смелее. Они поняли, что вся русская масса оказалась не на их стороне /по-эмигрантски "свихнулась"/ и "фанатически" защищает то, что должна была сдать без сопротивления. Я очень колебался сделать эту тему /она сложная/ темой одной из последних моих глав, но, кажется, решусь. Без нее "загадка" войны — остается непонятной. Но отсюда же и наш с Вами "оптимизм", несмотря ни на что. Противоречия тут — глубокие; но общий итог очевиден. От Минска до Куйбышева он не меняется. Даже Кавказ, по-моему, тут не играет решающего значения. Задачи противника продолжают усложняться по мере продвижения вперед, и опасность срыва будет увеличиваться. А тут еще русская зима, которая оказалась суровее наполеоновской. И все же, допускаю, что и это не поможет. Моя последняя формула: "победить можно, завоевать — нельзя". Но это — на самый худой конец. Пока еще и "победы" нет. "Живые силы" не уничтожены. Задержка во времени — уже

совершившийся факт. А вместе с ним — рост затруднений с одной стороны, перспективы растущей поддержки с другой стороны — ясны. В общем итоге — унывать не приходится.

Моя работа, действительно, кончается. Но последние главы, посвященные современности, особенно трудны. И переписка на машинке, которой занимается дочь Полякова, задерживает отсылку готового. Так что, вопреки настояниям заказчиков, я в конце года своего товара им не смогу доставить. Пошлю, что успею. Все же, в целом, работа готова, и просветы выяснились. Очень помогли бы мне в последние минуты мои обзоры /в "Р. Зап."/, но выписывать их из грузенберговской библиотеки по их громоздкости уже не решаюсь. Оставил и мечты о женевских библиотеках. Все это запоздало.

Сообщение Ваше о предстоящем новом статуте русской эмиграции довольно неприятно. При теперешних официальных настроениях это может грозить большими осложнениями. Не решаюсь приводить фактических доказательств, но — "темна вода во облацех". Поживем — увидим. К тому, что происходит там, это уже ничтожная прибавка.

Если увидите Элькан, попросите ее передать отцу, что его лекарства я начал принимать и что здешний доктор одобрил Саена, — но... вместе с этим сохранил и все свои прежние лекарства, которые я пробую потихоньку не принимать. Вообще мое самочувствие настолько хорошо, что я начал пренебрегать лечением и даже нахожу, что доктора — это хорошо, но без докторов — все-таки лучше.

Сообщения Ваши из США неутешительны, но не неожиданны. Я предсказывал две книги русского журнала; Вы ограничиваете предсказание — о д н о й книгой*. Спешите послать Вашу статью. До меня приглашения не дошли, и я думаю, что это не случайно. Зато могу сообщить Вам приятное для меня обстоятельство. Второй том моих "Очерков",

* Речь идет об основанном в США "Новом журнале"

несколько сокращенный, в отличном переводе М-те... под руководством Карповича *, выходит в этом ноябре в Pennsylvania University Press. Об этом написал мне Карпович и очень меня обрадовал. Текст перевода я давно просмотрел, кое-что исправил — и нашел его чрезвычайно удачным. Это — лучшее из того, что я напечатал в США. Итак, sine me, liber, ibis in urbem!

Сердечные пожелания Вам обоим от нас обоим
Ваш П. Милюков

9 декабря 1941
Hôtel International, Aix-les-Bains

Дорогой Яков Борисович,

Я получил Ваши письма от 3 и 6 декабря. Совершенно согласен с Вашими наблюдениями и очень рад, что они совпадают с моими. События третьего дня** вносят новый фактор громадных размеров в современную драму, и трудно сразу учесть все их возможные последствия. Риск велик со стороны зачинщика, но повторение Порт-Артура грозит неприятностями и для другой стороны, по крайней мере в начале. Надеюсь, что наша хата останется с краю, и второго фронта там не будет. Но в наше время перегородки так тонки... Притом же главные встречи будут на морях, а не на суше, — и руки здесь могут остаться сравнительно свободными. Ближайшие дни, вероятно, внесут свет и в эту сторону проблемы. Сторона "отката" для меня ясна, она подтверждается и известиями о внутренних настроениях: это то главное, что я предвидел и что заставило меня оставаться оптимистом при худших условиях. Но с надеждами на "мирную демократизацию",

* Карпович Михаил Михайлович /1887 — 1959/, профессор-историк, один из основателей Нью-Йоркского "Нового журнала", автор исследования "Императорская Россия".

** 7 декабря 1941 г. Япония напала на американский флот в Пирл Харборе, в связи с чем США вступили в войну.

как она ни желательна, нужно подождать. Благоразумие того требует; но где пределы человеческой глупости, — особенно подкрепленной успехом. Сколько помню, завещание Петра Великого составлено кавалером д'Эоном в дни Елизаветы и Екатерины, хотя и имело продолжение при Наполеоне. Относительно Мережковских — так и надо было ожидать. История с Данте послужила, очевидно, интродукцией*.

Я очень был тронут, что Вы раскрыли мой намек относительно "Русских Записок". Я не хотел затруднять новыми дружескими услугами и надеялся добыть из одного источника много нового. Но присланные книжки оживили много воспоминаний, и это пришлось очень кстати. Относительно остающихся книжек я несколько удивлен, что их нет в библиотеке О. О.** Пропасть им было некуда. Розу Гавр.*** поблагодарите от меня. Екат. Дмитр. вернула себе всю свою дее-способность; я очень боялся за ее зрение, но, оказывается, больными глазами она начинает видеть очертания букв. Я очень убеждаю ее не утруждать глаза, но она не слушается. Настойчиво тянет нас к себе, но для моей работы это уже не понадобится, я ее кончаю. Что Вы знаете о способах пересылки по назначению? Вы, по-видимому, рассчитываете получить русский журнал беспрепятственно? Я отнюдь не уверен в возможности получить мою книгу пенсильванского издания. Это не две части 2-го тома "Очерков", а соединенное и несколько сокращенное издание их в одном томе под особым заглавием. Русская "культура", конечно, особенно интересует более широкий круг читателей, и на этом Карпович основал свой план издания отдельной книги. Я сократил текст, но немного; перевод, сделанный М-те... вышел очень хороший, и вот теперь я испытываю муки Тантала. Дойдет ли?

Что касается русского журнала, я не хотел бы прибавлять резонанс к Вашему решению — выждать, но не могу скрыть от

* Имеется в виду активное сотрудничество Мережковских с оккупационными войсками. История с Данте — в разговоре с Муссолини Мережковский сравнил дуче с автором "Божественной комедии", в ответ на эту лесть сам Муссолини сказал: "Piano, piano!.." /Потише!/
** Грузенберга

*** Роза Гавриловна — жена О. О. Грузенберга

Вас, что процитированный Вами аргумент в пользу моего участия произвел на меня обратное впечатление. И х позиция "не отличается" от моей по отношению к "прогрессивному блоку в Думе"! Но ведь там я устраивал блок вплоть до гр. В. Бобринского и В. В. Шульгина, во-первых, потому, что это были не журналисты, а члены Думы, т. е. государственные деятели, а, во-вторых, потому, что наступил исключительно серьезный момент для выступления этого учреждения, как целого, в истории России. Здесь, очевидно, ни того, ни другого условия нет, хотя бы "блок" и шел только до... Тимашева*. Повторяю, Ваше положение — другое. Но уклончивые заявления М. Ал. тоже наводят на сомнения. Мне посылать первую книжку, во всяком случае, не надо; я удовольствуюсь сообщением от Вас, по Вашему экземпляру.

С сердечным приветом

Ваш П. Милюков

8 января, 1942

Hôtel International Aix-les-Bains

Дорогой Яков Борисович,

... Кулишер** и мне прислал телеграмму о своем новом приключении. Это все-таки лучше сообщения, полученного из Парижа, что он — в сумасшедшем доме. Я очень рад, что ему помогли. Может быть, в лагере без алкоголя он и выправится. Жаль очень этого талантливого человека.

Насчет "симптомов", нами предусмотренных, вы правы. Но тут действуют симптомы не с одной стороны, а с двух, — и вторые очень ускоряют действие первых, так что общий результат может очень сократить лечение больного. Ваше замечание об Украине не совсем понял; очевидно, я тут чего-то не знаю. О "беспечности" докторов со стороны не го-

* Профессор-экономист и социолог, в эмиграции с 1921 года /Берлин, Прага, Париж/, создал новую науку — "Социологию права".

** Профессор, специалист по государственному и административному праву, по истории и социологии, сотрудник "ПН" с 1923 г.; немцы арестовали его как еврея и посадили в лагерь, где он погиб.

ворите: у них и так много своего дела. Скорее можно опасаться, что они набрали себе слишком много больных, не рассчитав своих сил. Если бы не эта двойная обуза, мое предсказание о быстром выздоровлении могло бы легче исполниться. А то приходится искать для новых клиентов другую клинику. Спасение было бы, если бы можно было отделить выздоравливающих от зараженных.

Мне пишут, что первый блин нового "Окна" появился на свет и почему-то прибавляют, что "успех средний". Продолжая сравнение, можно было бы пожалеть нашего милого акушера. Но подождем: может быть, это говорят какие-нибудь внутренние соперники. Напишите, что узнаете.

От нас обоих сердечные пожелания Вам и Любви Александровне к наступившему году. Присоединяюсь от души к Вашей надежде, что он пойдет "обратным ходом".

Ваш П. Милюков

Комментарий Полонского

... Я писал П. Н. в письме моем от 30. 12.: то, что мы принимали за симптомы наступающего перелома событий, приняло отчетливый характер обратного хода событий. Фильм войны пущен в обратном направлении.

"Вторые" — это следует понимать как симптомы произошедшего внутри немцев перелома.

"Первый блин нового "Окна" — очень тонкая ирония. "Окно" — это название мертворожд. лит. сборника, три или четыре книги, кот. выпустила около 20-ти лет тому назад М. С. Цетлин, для того, чтобы дать возможность своему мужу Мих. Ос. /Атари/ выступить в качестве редактора. Новое "Окно" — это "Новый журнал", редактором коего явл. М. Алданов /"наш милый акушер"/ и М. О. Цетлин, жена кот. взялась собрать деньги на этот журнал при условии, что "Мишенька" будет одним из редакторов.

12 марта, 1942
Aix-les-Bains

Дорогой Яков Борисович,

Я получил Ваше письмо от 4/3 с приложением открытки Вл. Андр.* Как я сообщал Вам по телефону, я, действительно, пережил серьезный сердечный кризис. Признаки его, одышка, сердцебиение, трудность передвижения — накопились уже за несколько недель перед этим, но по небрежности, я оставлял их без внимания. Наконец, пришлось обратиться к доктору. Он прежде всего измерил давление и выпустил стакан крови; затем, вместе с другим доктором, сделал прокол в плевру и выкачал оттуда полторы бутылки желтоватой жидкости. Болезнь моя определилась термином Hydrothorax. После крово- и водопускания признаки сразу прекратились. Но я чувствовал себя очень ослабевшим, и доктор, кроме лекарств, предписал довольно суровый режим отдыха, лежания и т. д., запретив выходить из комнаты и т. д. Режим этот и до сих пор не прекратился, но постепенно я ожил и чувствую себя теперь гораздо крепче, чем до этого лечения. За время болезни я действительно, запустил всю корреспонденцию и прервал окончание работы. Только теперь принимаюсь, наконец, за то и другое.

Однако же, мое молчание по отношению к Могилевскому оказалось слишком длительным, чтобы объясняться одною болезнью. Я уже давно замечаю, что мои открытки просто не доходят. Я по крайней мере три раза благодарил за присылку яблочек, а он все еще продолжает спрашивать, получил ли я их. В таком же роде и другие неувязки. Две карточки мне вернули: один раз я наклеил на 80 сант. добавочную марку в 40 с; другой раз не написал *renoms*. Но и этого мало для объяснения перерыва.

Вот Вам полнейший отчет. Повторяю, теперь я на пути к полнейшему выздоровлению — и пора, потому что болеть и невольно бездействовать мне страшно надоело.

* Вл/адимир/ Андр/еевич/ Осоргин /наст, фамилия — Ильин, 1878 — 1943/, русский писатель, в эмиграции с 1920 года.

Вы правы: политический процесс* едва ли удовлетворит намерения затеявших его. Он, конечно, показал нехватки, но в то же время дает уже теперь общую картину, в которой тушеваются личные ответственности. Картина печальная — но не та, которая ожидалась.

На карте становится трудно разбираться: по признанию противника, вместо непрерывного фронта получился слоенный пирог, в котором наша прослойка становится все гуще. И недаром официальное начало весеннего похода отличается соответственно "атмосферическим" указаниям. Что тут, кроме Реомюра и Фаренгейта, замешался и политический барометр, становится все более ясным. Вырос и наш удельный вес в общем деле: в Европе мы одни оказались равносильными противниками. Ждать от весны такого же напора, который уже выдержали в течение прошлого года, едва ли возможно: как бы ни был грозен материал и люди, а настроения — не те, что прежде.

Написав эти строки, я только что получил известие о блестящем деле у Ржева, которое, очевидно, свидетельствует об одном из удачных наших "окружений".

О кончине Ал. Мих.,** я получил известия с разных сторон. Вот — тяжелая весть. Никто, как я, не мог оценить таланта Юниуса, и кажется, ни с кем, как со мной, он не чувствовал себя так в унисон. В Монпелье он оправдывал передо мной свои ненормальности тяжелым семейным положением и общественными неудачами. Если в таком же настроении и в полном сознании он и умирал одинокий, вдали от друзей — можно себе представить его душевное состояние. Как большой ребенок он ушел из дома и погиб по пути к своей последней мечте — Америке, где без труда устроились менее достойные...

* Политический процесс — или Риомский — на нем судили министров и генералов III Республики /в т. ч. Леона Блюма и Гамлена/, обвиненных в поражении Франции; открылся в феврале 1940 г. и был прерван 11 апреля 1942 г., поскольку власти испугались разоблачений со стороны подсудимых, которые были позднее просто переданы немцам.

** Алексей Михайлович Юниус

После трагедии — комедия. Маленький пафос Берберовой* переместился, после интермеццо "семейного счастья", на новое место, но с прежней примесью фальши. Но вздутое самолюбие осталось: она не удостоивает говорить "общим языком" с Адамовичем! Что она заговорит через год?

Ниночка совсем замоталась, ухаживая за мной. Она все собиралась писать и Любовь Александровне и Элькан, а теперь еле дышит от утомления и вместо писем шлет поклоны. Пожалуйста, поклонитесь и от меня, а отцу Элькан скажите, что я соберусь дать ему отчет и о его леченьи, и о моей болезни.

Преданный Вам
П. Милюков

Окончание в следующем номере.

* Писательница, была женой Ходасевича, позднее — Макеева.

ИСКУССТВО ОТТО ФРЕЙНДЛИХА

В этом номере мы предлагаем вниманию читателей работы Отто Фрейндлиха, сподвижника Кандинского и Малевича, представителя великой плеяды первых абстракционистов. Об этих замечательных мастерах написаны тома, и в маленьком журнальном эссе вряд ли можно добавить что-то существенное к тому главному, что уже известно о их стиле и почерке, о их стремлении к поиску вечных и чистых форм в искусстве, соответствующих вечным темам бытия — "жизнь", "смерть", "рождение".

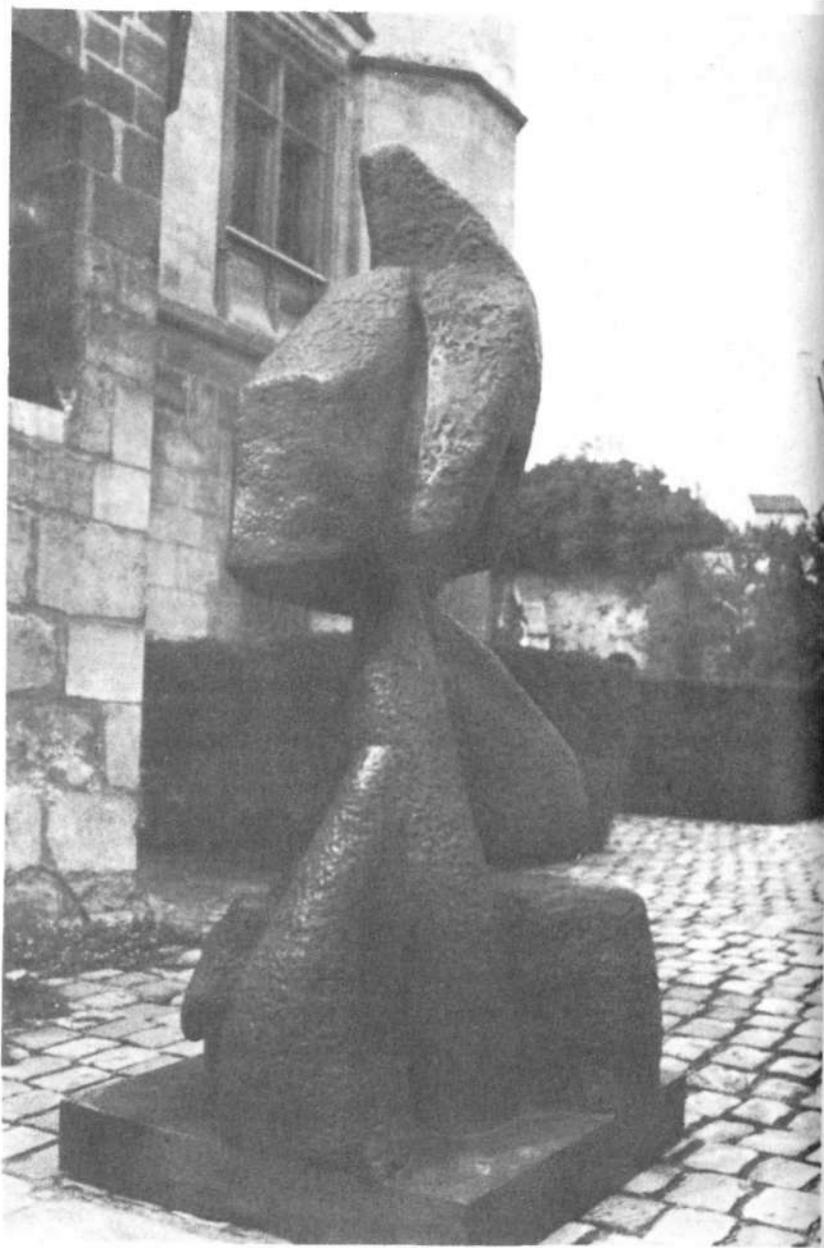
Отто Фрейндлих видел в абстракционизме революцию в искусстве. По его мнению, искусство не может быть внесоциальным. В одном из своих манифестов он открыто заявляет, что оно призвано сыграть в жизни свою великую социально-биологическую роль. Что подразумевал под этим художник? Может быть, его работы помогают нам понять этот, на первый взгляд, далеко не очевидный тезис. В живописи Отто Фрейндлиха нас более всего поражает его фантазия, фантазия в выборе цветов, в их буйной безудержной игре, в неустанном и таком же безудержном поиске форм. Многие из работ Фрейндлиха — это даже не картины — это декорации, это цветные витражи — игра и фантазия, фантазия и игра... И, конечно же, бунт. Бунт против традиций, застывших форм, бунт, который в конечном счете есть отражение революционных потрясений эпохи.

И когда мы сегодня читаем прописи соцреализма о том, что-де абстракционисты бежали от революции, социальных потрясений, то можно только поражаться, сколь мало значит для соцреализма истина. Художник — "барометр социальных перемен" — вот в чем видят свою общественную роль Малевич, Кандинский, Отто Фрейндлих. Оттого, верно, — в силу своей революционности, бунтарства, — они находились в вечной конфронтации с тоталитаризмом, и, в конце концов, стали его трагическими жертвами. Кандинский на склоне лет перестал рисовать и эмигрировал в Париж. Перестал рисовать и Малевич, умерший в нищете в России. И тот же, в сущности, трагический конец мы видим у Отто Фрейндлиха, погибшего в немецком концлагере.

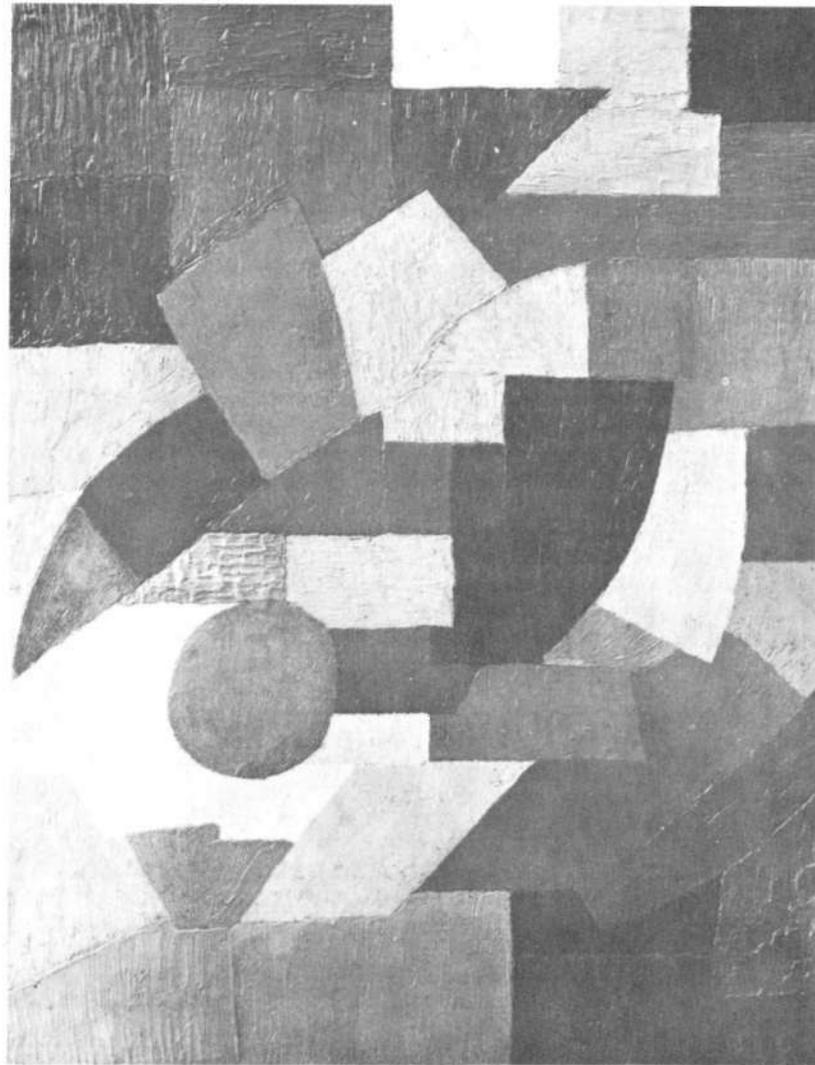
В. ПЕТРОВСКИЙ



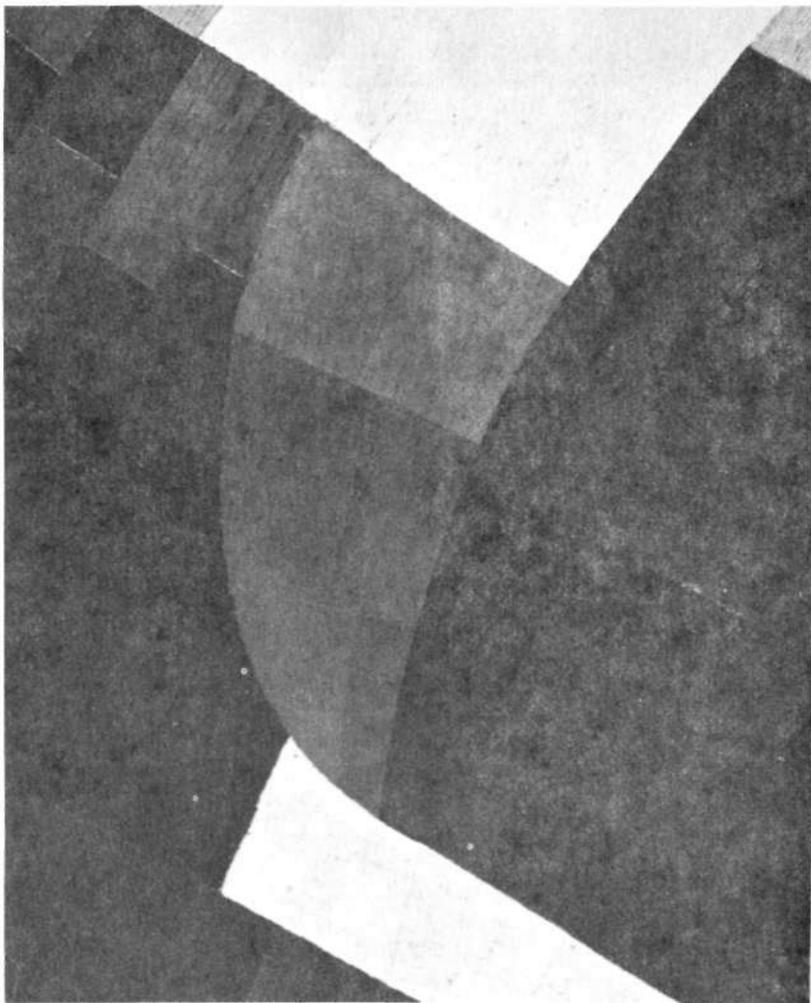
Восхождение. 1929. Бронза.



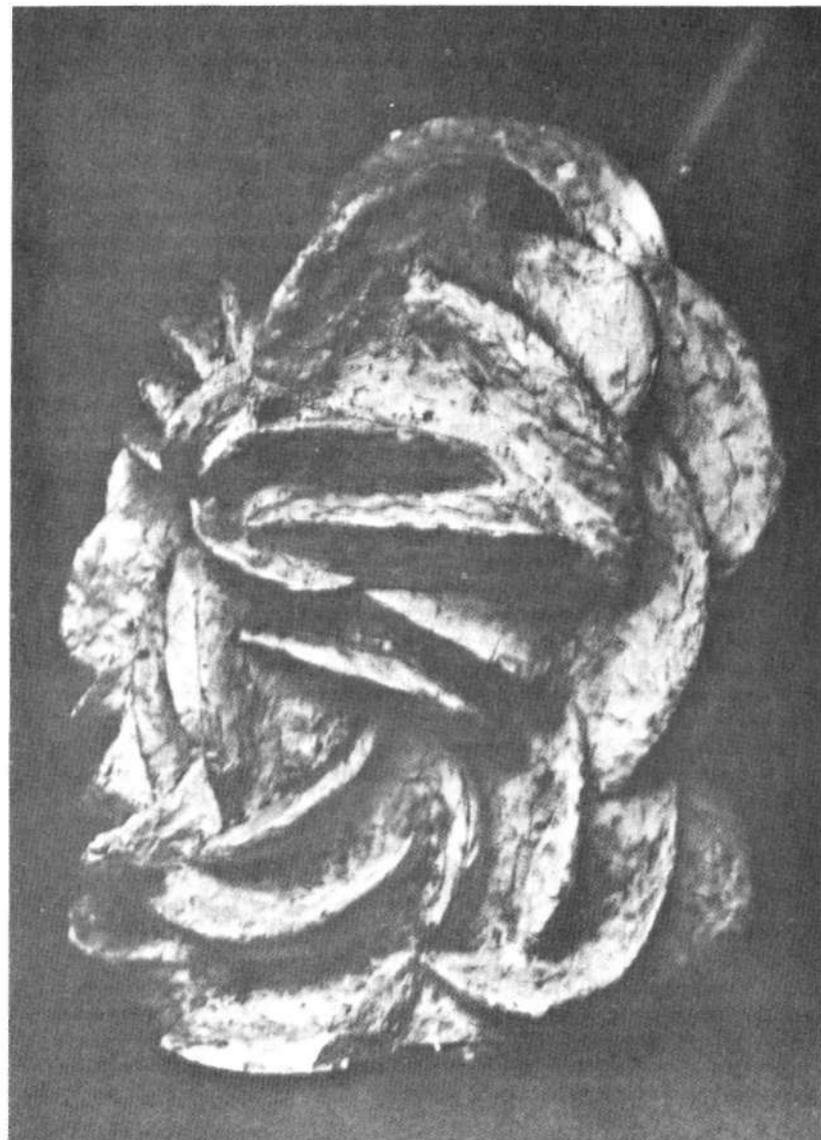
Композиция. 1933. Бронза.



Ансамбль. 1935. Масло. Холст.



Композиция. 1935. Масло. Холст.



Голова. 1916. Гипс.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Раиса ОРЛОВА /жена писателя Льва Копелева/. Писатель и переводчик, член Союза писателей СССР. Специалист в области истории американской литературы, автор ряда книг и статей, посвященных американской литературе.

Фридрих ГОРЕНШТЕЙН. Писатель. Живет в России. Родился в 1932 году в Киеве. Окончил сценарные курсы. В 1962 году опубликовал в журнале "Юность" рассказ "Дом с башенкой". В 1972 году по сценарию Фридриха Горенштейна Андрей Тарковский поставил фильм "Солярис". По сценариям Фридриха Горенштейна поставлено восемь фильмов, в том числе три телевизионных. Однако ни одного прозаического произведения после 1962 года Ф. Горенштейн опубликовать не смог. Между тем, в семидесятых годах им написаны повести "Зима 53-го" /1965/, "Ступени" /1966/, "Искушение" /1967/, рассказ "Старушки" /1964/, пьеса "Споры о Достоевском" /1973/ и ряд других произведений. С конца семидесятых годов Горенштейн начинает систематически публиковаться на Западе. В семнадцатом номере "Континента" публикуется повесть Горенштейна "Зима 53-го". В 42-м номере нашего журнала опубликован отрывок из его повести "Искушение".

Более подробно биография Фридриха Горенштейна приводится в статье Ефима Эткинда "Рождение мастера" /"Время и мы" — журн. 42/.

Леонид ИОФФЕ. Родился в 1943 году. До 1972 года жил в Москве. Окончил Московский государственный университет им. М. Ломоносова. В настоящее время живет в Иерусалиме. Печатался в иерусалимском журнале "Менора".

Надежда ПАСТЕРНАК. Родилась в Кишиневе в 1950 году. Окончила филологический факультет Кишиневского пединститута. Стихи пишет с 13 лет. Начиная с 1968 и по 1969 год выступала в периодической печати. После 1969 года в Советском Союзе не публиковалась. В Израиль приехала в 1979 году.

Владимир ВИШНЯК. Писатель, литературный критик, переводчик. Из Советского Союза эмигрировал в 1972 году. Вначале жил в Иерусалиме. В настоящее время живет и работает в Англии.

Аркадий ЛЬВОВ /см. журн. № 50/.

Леонид ГЕЛЛЕР. Литературный критик. Родился в 1945 году в Москве. По окончании школы пытался стать архитектором, однако не стал им. Затем до 1969 года жил в Варшаве, оттуда эмигрировал во Францию. Кончил факультет славистики Парижского университета "Сорбонна". В настоящее время преподает историю русского языка в университете в Лозанне.

Макс БРОД. Известный немецкий писатель-сионист. Один из ближайших друзей Франца Кафки. Родился и многие годы прожил в Праге. Макс Броду принадлежит целый ряд широко известных художественных произведений. В Праге он принадлежал к "Могучей кучке", в которую входили также Франц Кафка и Гуго Бергман. Был тесно связан с Мартином Бубером. После войны многие годы жил в Израиле.

Павел МИЛЮКОВ. Биографические данные приводятся во вступительной заметке к письмам Милюкова.

ПЕРЕСТУПИТЕ ЧЕРЕЗ ЭМОЦИИ И ПОМОГИТЕ КОРЧНОМУ

Открытое письмо чемпиону мира по шахматам А. Е. Карпову

Когда русские эмигранты: поэт Потемкин и доктор Кан предложили ФИДЕ в 1924 году девиз: "Gens una sumus", они свято верили в то, что шахматисты планеты создадут свое братство, вечное, как и сама игра. Несмотря на определенную девальвацию девиза, он, однако, и по сей день сохранил свою притягательную силу.

Возможно поэтому многомиллионные поклонники шахмат на разных меридианах и широтах мира с радостью встретили недавнюю информацию телеграфных агентств о том, что у Вас родился сын — понятно: счастье чемпиона разделяется всеми, кому дороги шахматы. К сожалению, радость эта была омрачена полярным сообщением — в Москве был арестован и отдан под суд Игорь Корчной, сын второго гроссмейстера мира. Возникла почти шахматная ситуация: одна фигура вошла на доску, другую — сбросили в ящик. Тут, пожалуй, уместно было бы прекратить метафоричные аналогии, если бы сын Корчного, действительно, не был на 2,5 года запрятан в "ящик" и его жизни не угрожала бы прямая опасность. Игорь Корчной подвергся расправе только за то, что рискнул воспользоваться нашим "Gens una sumus", за естественное желание жить со своим отцом.

Пресса многих стран мира пестрит всевозможными петициями политических и общественных деятелей, направленными на защиту сына Корчного. Советские власти пока, увы, остаются глухи к этим призывам. Я глубоко убежден, что Вы сегодня, пожалуй, единственный человек, который может спасти Игоря и способствовать воссоединению отца с сыном; уверенность эта и подсказывает адресат обращения.

Я обращаюсь к Вам с призывом — помогите Игорю Корчному и его отцу, преступите через те эмоции, которые Вы лаконично выразили на одной из Ваших пресс-конференций — "Я ненавижу Корчного"; вспомните пушкинское — "... и милость к падшим призывал".

Дважды подряд Вы, Анатолий Евгеньевич, взбирались на шахматный Эверест плечом к плечу с Виктором Кориным. Вам первому удалось водрузить на вершине свой вымпел. Хотите Вы этого или нет, но на тернистом и полном опасностей пути гроссмейстер-невозвращенец был Вашим соавтором, по пути к цели Вы сообща испили горькую чашу крушений и надежд. И с этим нельзя не считаться.

Наше поколение стало свидетелем того, как на Родину вернулось искусство Алевина и многое из написанного Бунинным, музыка Рахманинова и Стравинского, Шаляпин и Павлова, сегодняшний читатель знает уже имя Набокова. Придут со временем в Россию и те шахматные шедевры, которые создал в Зарубежье Виктор Корчной.

Может быть, учитывая это, Вы, Анатолий Евгеньевич, в свое время нашли в себе силы встать выше ажиотажа гроссмейстерской черни и высказали свое отношение к поступку постоянного соперника в форме и тоне, достойных ситуации и Вашего высокого звания.

Я думаю, что когда Ваш сын подрастет, он, скорее всего, подобно многим Вашим почитателям, начнет проникать в таинства творческой лаборатории отца. Не исключено, что он спросит Вас об Игоре Корчном — какую, достойную ли позицию избрал его отец в этой драматической ситуации (ведь даты рождения Вашего сына и ареста почти совпадают и, согласитесь: в этом "соответствии" есть свое зловещее звучание). Мне и многим шахматистам не хотелось бы, чтобы при таком вопросе сына Вам, чемпиону мира, пришлось краснеть.

Протяните сыну Корчного руку помощи! Не ссылайтесь на решение законного суда: подобное было бы равнозначно моей попытке спекуляции на Вашей дружбе с Председателем Президиума Верховного Совета СССР. Позволю себе напомнить Вам факт, упорно замалчиваемый в Советском Союзе. Военный трибунал Одесского ЧК приговорил Александра Алевина к расстрелу. За два часа до приведения приговора в исполнение шахматный мастер Вильнер, служивший в слavnых органах, связался по телефону с тогдашним Председателем Украинского Совнаркома Раковским, который, к счастью, слышал об Алевине. Русский кудесник был спасен. Сегодня все проще: суд не обладает силой революционного ЧК, а Игорь Корчной не представитель буржуазно-эксплуататорских классов.

Самые важные звания шахматной иерархии, Анатолий Евгеньевич, Вами уже завоеваны, пожалуй, кроме одного — самый благородный шахматист мира. Формально этот титул нигде не зафиксирован, но он живет в умах и сердцах шахматных энтузиастов, он входит в историю. Думается, что борьба за жизнь Игоря Корчного заслуживает ореола Благородного.

Печально сознавать, что политические границы разрушают гармонию шахматной семьи и вынуждают меня вести с Вами этот разговор в форме открытого письма, но боюсь, что иначе я просто не был бы услышан.

*Э. Штейн, шахматный мастер,
Член группы "А" - "AIPE" — Международной федерации журналистов, пишущих на шахматные темы.*

**ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА ЕДИНСТВЕННУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ
ГАЗЕТУ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ**

НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО
под редакцией АНДРЕЯ СЕДЫХ
69 г о д издания

Подписная цена на 1 год 70 долларов
Воскресное издание только 35 долларов

Воздушной почтой ежедневное и воскресное
издание 180 долларов.

Чеки выписывать на имя:
"NOVOYE RUSSKOYE SLOVO"
и направлять по адресу:
243 WEST 56 STREET
NEW YORK, N. Y. 10019, USA

*В Новом Русском Слове сотрудничают
лучшие литературные силы эмиграции.
Газета имеет собственных корреспондентов
в Иерусалиме и Тель-Авиве.*

ЭТЕЛЬ КОВЕНСКАЯ

ПЕСНЯ ЗА ПЕСНЕЙ

*Двенадцать лучших песен актрисы в грам-
мофонной записи.*

Песни на русском, иврите, идише.

*Булат Окуджава, Шолом-Алейхем, Альперн,
Мангерн...*

Несколько отзывов об Этель Ковенской:

*Юрий Завадский: Этель Ковенская поет с феноме-
нальным артистизмом.*

*Ирма Яунзен: Ее голос поразительно чист, без малей-
ших следов жеманства, и изумительно музыкален,— при-
том не только в ее песнях, но и в ее устной декламации
со сцены.*

*"Давар" /Тель-Авив/: Этель Ковенская — это подлин-
ное сокровище израильского театра, в котором она,
безусловно, уже заняла свое место. Она в равной сте-
пени и русская и еврейская певица. Массы евреев Совет-
ского Союза рвались на ее концерты, чтобы послушать
ее песни и музыку.*

*"Последние новости" /Тель-Авив/: Ее артистизм
удивительно сочетается с личным обаянием. В своих
песнях она открывает новые гласты еврейского на-
родного фольклора и предлагает нам в высшей степени
оригинальную интерпретацию песен еврейских поэтов.*

*Пластинка Этель Ковенской выпускается в
ближайшее время.*

*Стоимость в Израиле: 250 лир, за границей —
9 долларов, включая пересылку.*

*Заказы и прилагаемые к ним чеки присылать
по адресу: Тель-Авив, Яффо-Далет, ул. Рубин-
штейна, 55/9, Э. Ковенской.*

ВРЕМЯ И МЫ-1980год

Ко всем подписчикам и читателям журнала

Начиная с января 1980 года журнал "Время и мы" начинает издаваться как международный журнал литературы и общественных проблем с тремя центрами: в Тель-Авиве, Нью-Йорке и Париже. В связи с этим, естественно, расширится тематический круг журнала так же, как круг его авторов. На страницах журнала в 1980 году мы планируем публикацию лучших прозаических произведений самиздата. Предполагаются выступления Белля, Гольдштюккера, Виктора Некрасова, публикация писем Леонида Андреева, материалов процесса Кравченко (автора книги "Я выбрал свободу"). Мы предполагаем напечатать цикл эссе Льва Наврозова, рассказы и повести Александра Тучкова, американские рассказы Аркадия Львова, статьи и эссе Ефима Эткинда, Льва Копелева, Доры Штурман. Таким образом, журнал и дальше будет продолжать свою линию независимого гуманистического издания широкого профиля, на страницах которого найдут выражение любые взгляды и точки зрения, независимо от национальной, политической или религиозной принадлежности автора

В связи с тем, что журнал "Время и мы" является беспартийным, независимым и никем не субсидируемым изданием, мы надеемся на более эффективную экономическую поддержку наших читателей. Поэтому наряду с обычными условиями подписки для тех, кто хочет помочь журналу и располагает соответствующими возможностями, предлагаются несколько более высокие подписные цены.

Установлены следующие подписные цены на 1980 год:

В ИЗРАИЛЕ: на год — 1800 лир, на шесть месяцев — 1050 лир, с целью экономической поддержки журнала — 1900 лир и 1150 лир. (Оплатить подписку можно в три чека, первый — на день подписки, третий не позднее апреля 1980 года).

В США и КАНАДЕ: на год — 48\$, на шесть месяцев — 24\$. С целью экономической поддержки журнала — 60 и 30 (авиапочта — 96).

Во ФРАНЦИИ: на год — 220F.FR, на шесть месяцев — 110 F.FR. С целью экономической поддержки журнала 270 и 130 (авиапочта—370)

В ГЕРМАНИИ на год — 92 DM, на шесть месяцев — 46 DM. С целью экономической поддержки журнала — 115 и 56 (авиапочта — 185).

"ВРЕМЯ и МЫ" - 1980 год

ПОДПИСКА В ИЗРАИЛЕ НА 1980 ГОД

Сроком на 6 месяцев
на 12 месяцев

Журнал высылать с номера.....

Журнал высылать по адресу:.....

Приложен чек.....

Подпись Дата

* Чек выписывается на имя журнала "Время и мы" — можно по русски — и высылается по адресу :
P.O.B. 24123, Tel Aviv

ПОДПИСКА ЗА ГРАНИЦЕЙ НА 1980 ГОД

Авиапочтой сроком на 6 месяцев
Обыкновенной почтой на 12 месяцев

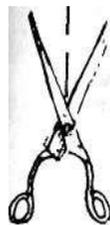
Журнал высылать с номера.....

Журнал высылать по адресу:.....

Приложен чек.....

Подпись..... Дата.....

* Чек выписывается на имя журнала "Время и мы" — можно по-русски — и высылается по адресу; **P.O.B. 24123, Tel-Aviv, Israel**



Отвергнутые рукописи не возвращаются, и по поводу них редакция в переписку не вступает.

Издательство "Время и мы", ул. Шенкин, 26, Гиватаим.
Тел. (03)31-58-40,
26 Shenkin St., Givataim.

Письма и корреспонденцию направлять по адресу: П.Я. 24123, Тель-Авив.

Типография "Дерби". Улица Амавдиль, 6. Т.—А.

Художник Лев Ларский

Корректор и литературный редактор Эвелина Браверман

Технический редактор И. Левин

OCR и вычитка - Давид Титиевский, июнь 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

На четвертой странице обложки: Отто Фрейндлих "Композиция из трех фигур".

Иллюстрации, опубликованные в разделе Вернисаж "Время и мы" и на четвертой странице обложки, взяты из каталога "Otto Freundlich" /Израильский музей. Иерусалим/.

